

■ ■ ■
проза еврейской жизни

Hanna Krall

Zdążyć przed
Panem Bogiem

Ханна Кралль
Опередить
Господа Бога

Повесть

*Перевод с польского
Ксении Старосельской*

*Послесловие
Евгения Евтушенко*



Москва 2011

УДК 821.162.1-94
ББК 84(4Пол)+63.3(4Пол)
К 78

Серия основана в 2005 году

Оформление серии А. БОНДАРЕНКО

ISBN 978-5-7516-0996-2 («Текст»)

ISBN 978-5-9953-0138-7 («Книжники»)

© 1997 by Hanna Krall

First published under the original Polish language title ZDAŹYĆ
PRZED PANEM BOGIEM by Wydawnictwo a5, Krakow, 1997

© «Текст», издание на русском языке, 2011

На тебе в тот день был красный пушистый джемпер. «Отличный джемпер, — уточнил ты, — из ангорской шерсти. Очень богатого еврея...» Поверх два кожаных ремня крест-накрест, а посередине — на груди — фонарик. «Надо было меня видеть!» — сказал ты мне, когда я спросила про девятнадцатое апреля...

— Так и сказал?

Холодно было. В апреле по вечерам бывает холодно, особенно когда ешь мало, вот я и надел джемпер. Да, я его действительно нашел в вещах одного еврея; после того как их семью выволокли из подвала, я взял себе джемпер из ангорской шерсти. Отменного качества: у этого типа была куча денег, перед войной он дал армии на постройку то ли самолета, то ли танка, чего-то в этом роде.

Я знаю, ты любишь такие детали, потому, наверно, про него и упомянул.

— Ну нет. Упомянул — поскольку хотел кое-что подчеркнуть. Деловитость и спокойствие. Вот что тебе было нужно.

— Просто мы все тогда так говорили.

— Стало быть, джемпер, ремни крест-накрест...

— Допиши еще: два револьвера. Это был высший шик — револьверы на ремнях. Нам тогда казалось, у кого есть два револьвера, у того есть все.

— Девятнадцатое апреля: тебя разбудили выстрелы, ты оделся...

— Нет, пока еще нет. Меня разбудили выстрелы, но было холодно, стреляли далеко, и вставать было незачем.

Оделся я в двенадцать.

С нами был парень, который принес с арийской стороны оружие — он собирался сразу идти обратно, но было уже поздно. Когда начали стрелять, он сказал, что у него в Замостье в монастыре дочка и он знает, что живым не останется, а я останусь и потому должен после войны об этой дочке позаботиться. Я сказал: «Ладно, ладно, не болтай чепухи».

— Ну и?

— Что «ну и»?

— Удалось тебе отыскать дочку?

— Да, удалось.

— Послушай. Мы условились, что ты будешь рассказывать, верно? Пока еще девятнадцатое апреля. Стреляют. Ты оделся. Тот парень с арийской стороны сказал про дочку. Что дальше?

— Мы пошли поглядеть, что делается вокруг. Вышли во двор — а там немцы, пятеро или шестеро. Собственно, следовало их убить, но у нас еще не было в таких делах сноровки, да и страшновато было — в общем, не убили.

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

Через три часа стрельба прекратилась.

Стало тихо.

В наш участок входило так называемое гетто фабрики щеток — Францисканская, Свентоерская, Бонифратерская.

Фабричные ворота были заминированы.

Когда на следующий день подошли немцы, мы включили взрывное устройство, — наверно, сотню их разнесло в клочья; хотя точно не помню, ты должна это где-нибудь проверить. Я вообще уже многого не помню. Про каждого из своих больных мог бы тебе рассказать в десять раз больше.

После взрыва немцы пошли на нас цепью. Очень нам это понравилось. Против сорока — сотня, целая колонна, в боевом порядке, крадутся, видно, что относятся к нам серьезно.

Под вечер прислали троих: автоматы дулом вниз, белые ленты. Кричали, чтобы мы сложили оружие, тогда нас отправят в специальный лагерь. Мы их обстреляли — в донесениях Штропа* я потом нашел эту сцену: они, парламентареры, с белым флагом, а мы, бандиты, открываем огонь. Правда, мы в них не попали, но это не важно.

— Как — не важно?

* Юрген Штроп (1895–1952) — группенфюрер СС, генерал-лейтенант полиции, ответственный за ликвидацию Варшавского гетто; с апреля по сентябрь 1943 г. — руководитель СС и полиции Варшавского округа; повешен по приговору военного суда Варшавы. *(Здесь и далее примеч. перев.)*

— Важно было другое: что мы стреляем. Это необходимо было показать. Не немцам. Они умели стрелять лучше. Мы должны были это показать другому, не немецкому миру. Люди считают, что когда стреляют — это высочайший героизм. Ну и мы стреляли.

— Почему вы назначили именно эту дату — девятнадцатое апреля?

— Не мы ее назначили. Немцы. В этот день должна была начаться ликвидация гетто. С арийской стороны нам сообщили, что немцы готовятся, уже окружили снаружи стены. Восемнадцатого вечером мы собрались у Анелевича, впятером, весь штаб. Я, наверно, был самый старший, мне исполнилось двадцать два, Анелевич моложе на год, всем пятерым вместе было сто десять лет.

Разговор там уже был короткий. «Ну так что?» — «Звонили из города. Анелевич берет на себя центральное гетто, заместители — Геллер и я — мастерские Тёббенса и фабрику щеток». — «Ну, до завтра», — разве что попрощались, чего никогда раньше не делали.

— Почему именно Анелевич возглавил штаб?

— Ему очень хотелось, вот мы его и выбрали. Ребяческие, конечно, амбиции, но парень он был толковый, начитанный, очень энергичный. До войны жил на Сольце. Его мать торговала рыбой; если не удавалось все продать, она посылала сына за красной краской и заставляла подкрашивать жабры, чтобы рыба выглядела свежей. Он был вечно голоден.

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

Когда приехал к нам из Заглембья и мы дали ему поесть, прикрывал тарелку рукой, чтоб не отобрали.

В нем было много юношеского задора, горячности, только он никогда прежде не видел «акции». Не видел, как грузят людей в вагоны на Умшлагплац. А от такой штуки — когда на твоих глазах четыреста тысяч человек отправляют в газовые камеры — можно сломаться.

Девятнадцатого апреля мы не виделись. Встретились на следующий день. Перед нами был уже другой человек. Целина сказала мне: «Знаешь, это с ним случилось вчера. Сидел, твердил: мы все погибнем...» Один еще только раз оживился. Когда от аковцев* пришло сообщение: ждать в северной части гетто. Мы толком не знали, в чем дело, да и ничего из этого не вышло, парня, который туда пошел, сожгли на Милой, мы слышали, как он целый день кричал; думаешь, это еще может на кого-нибудь произвести впечатление — один сожженный парень вдобавок к четырестам тысячам сожженных раньше?

— Я думаю, один сожженный парень производит большее впечатление, чем четыреста тысяч, а четыреста тысяч — большее, чем шесть миллионов. Итак, вы не знали толком, в чем дело...

* Аковцы — члены Армии Крайовой (АК), подпольной военной организации, действовавшей в 1942–1945 гг. в оккупированной Польше и подчинявшейся польскому эмигрантскому правительству в Лондоне.

— Анелевич думал, подойдет подкрепление, а мы ему объясняли: «Брось, там все простреливается, нам не прорваться».

Знаешь что?

Я считаю, в глубине души он верил в победу.

Конечно, никогда раньше он об этом не говорил. Наоборот. «Мы идем на смерть, — кричал, — другого пути нет, погибнем с честью, ради истории...» — в таких случаях всегда говорят что-то в этом роде. Но сейчас мне кажется, что он все время сохранял какую-то ребяческую надежду.

У него была девушка. Красивая такая, светлая, теплая. Мирой ее звали.

Седьмого мая он был с ней у нас, на Францисканской.

Восьмого мая, на Милой, он застрелил сперва ее, потом себя. Юрек Вильнер крикнул: «Погибнем вместе». Лютек Ротблат застрелил свою мать и сестру, потом уже все стали стрелять; когда мы туда прорвались, живых оставалось всего несколько человек, во семьдесят покончили с собой. «Именно так и должно было случиться, — сказали нам потом. — Погиб народ, погибли его бойцы. Смерть-символ». Тебе небось тоже нравятся такие символы?

Была там с ними девушка, Рут. Она семь раз стреляла в себя, пока не попала. Красивая крупная девушка с персиковой кожей, но извела зазря шесть патронов.

На этом месте теперь сквер. Могильный холмик, камень, надпись. В хорошую погоду приходят

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

матери с детьми или, вечером, парочки — на самом деле это братская могила, кости там так и остались.

— У тебя было сорок бойцов. Вам ни разу не приходило в голову сделать то же самое?

— Ни разу. Напрасно они так поступили. Хотя это прекрасный символ. Но ради символов не стоит жертвовать жизнью. Тут у меня сомнений не было. Во всяком случае — эти двадцать дней. Я мог сам съездить по морде, если кто-нибудь из моих впадал в истерику. Вообще я тогда многое мог. Потерять пять человек в схватке и не испытывать угрызений совести. Лечь спать, когда немцы долбили отверстия в стене, чтобы нас подорвать, — я просто знал, что пока нам делать нечего. А вот когда они в двенадцать пошли обедать — тут мы быстро сделали все, что было нужно, чтоб прорваться. (Я не волновался — наверно, потому, что, собственно, ничего не могло случиться. Ничего страшнее смерти, ведь о жизни вопрос никогда не стоял, всегда только о смерти. Возможно, никакой трагедии вовсе и не было. Трагедия — это когда ты волен принять какое-нибудь решение, когда что-то от тебя зависит, а там все было предрешено заранее. Сейчас, в больнице, на карту ставится жизнь — и всякий раз я обязан принимать решение. Сейчас я волнуюсь гораздо больше.)

И еще я кое-что мог. Мог сказать парню, который попросил у меня адрес на арийской стороне: «Еще не время. Еще рано». Сташеком его звали...

Видишь, фамилии я не помню. «Марек, — говорил он, — ведь ТАМ есть место, куда можно пойти...» Неужели надо было ему сказать, что такого места нет? Вот я и сказал: «Еще рано...»

— Из-за стены видно было что-нибудь на арийской стороне?

— Да. Стена доходила только до второго этажа. Уже с третьего видна была ТА улица. Мы видели карусель, людей, слышали музыку и ужасно боялись, что эта музыка заглушит нас и эти люди ничего не заметят, что вообще никто на свете не заметит — нас, борьбы, погибших... Что стена такая длинная — и ничего, никакие вести о нас никогда не просочатся наружу.

Но из Лондона передали, что Сикорский* наградили посмертно орденом *Virtuti Militari*** Михала Клепфиша. Того парня, который на нашем чердаке заслонил собой немецкий пулемет, чтобы мы могли прорваться.

Инженер, двадцать с чем-то лет. Про таких говорят: на редкость удачный мальчик.

Благодаря ему мы отбили атаку — сразу после этого и пришли те трое с белыми лентами. Парламентеры.

* Владислав Сикорский (1881–1943) — премьер-министр лондонского эмигрантского правительства в 1939–1943 гг., генерал.

** Орден воинской доблести — самый почетный польский орден, присуждается за выдающиеся боевые заслуги.

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

Я стоял здесь. Вот тут, точно на этом месте, только ворота тогда были деревянные. А бетонный столбик тот же, и барак, и, наверно, даже тополя те самые.

Погоди, а почему, собственно, я всегда стоял с этой стороны?

Ага, потому что с той стороны шла толпа. Вероятно, я боялся, как бы меня не прихватили.

Я был тогда посыльным в больнице, и в этом заключалась моя работа: стоять у ворот на Умшлагплац и выводить больных. Наши люди выискивали тех, кого нужно было спасти, а я их выводил как якобы больных.

Я был беспощаден. Одна женщина умоляла, чтобы я вывел ее четырнадцатилетнюю дочку, но я мог взять только одного человека и взял Зосю, которая была нашей лучшей связной. Четыре раза я ее выводил, и всякий раз ее хватали снова.

Как-то мимо меня гнали людей, у которых не было талонов на жизнь. Немцы раздали такие талоны, и тем, кто их получил, было обещано, что они останутся живы. У всех в гетто тогда была одна-единственная цель: раздобыть талон. Но потом пришли и за теми, с талонами.

А еще объявили, что право на жизнь дается работникам фабрик. Там нужны были швейные машинки, людям казалось, что швейные машинки спасут им жизнь, и за них платили любые деньги. Но потом пришли и за теми, с машинками.

Наконец было объявлено, что дают хлеб. Всем, кто выразит желание ехать на работы, по три кило хлеба и мармелад.

Послушай, детка. Ты знаешь, чем был хлеб в гетто? Если не знаешь, то никогда не поймешь, почему тысячи людей добровольно приходили и с хлебом отправлялись в Треблинку. Никто до сих пор этого понять не мог.

Здесь его раздавали, на этом месте. Продолговатые румяные буханки ситного.

И знаешь что?

Люди шли, организованно, четверками, — шли за этим хлебом, а потом в вагон. Желających было столько, что выстраивались очереди, в Треблинку приходилось отправлять уже по два эшелона в день — и то все добровольцы не помещались.

Ну а мы — мы, конечно, знали.

В сорок втором мы послали одного нашего товарища, Зигмунта, разузнать, что происходит с эшелонами. Он поехал с железнодорожниками с Гданьского вокзала. В Соколове ему сказали, что здесь путь раздваивается, одна ветка идет в Треблинку, туда каждый день отправляется товарный поезд, забитый людьми, и возвращается порожняком; продовольствия не подвозят.

Зигмунт вернулся в гетто, мы написали обо всем в нашей газете — но никто не поверил. «Вы что, спятили? — говорили нам, когда мы пытались доказать, что их везут не на работы. — Кто ж станет

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

посылать на смерть с хлебом? Столько хлеба переводить зря?!»

Акция длилась с двадцать второго июля по восьмое сентября 1942 года, шесть недель. Все эти шесть недель я простоял у ворот. Здесь, на этом месте. Проводил на эту площадь четыреста тысяч человек. Видел тот же самый бетонный столбик, который сейчас видишь ты.

В этой школе была больница. Ее ликвидировали восьмого сентября, в последний день акции. Наверху было несколько детских палат; когда немцы вошли на первый этаж, врач-женщина успела дать детям яд.

Нет, ты тоже ничегошеньки не можешь понять. Ведь она их спасла от газовой камеры, это было просто чудо, люди считали ее героиней.

Больные лежали на полу в ожидании погрузки в вагон, а медсестры отыскивали среди них своих отцов и матерей и впрыскивали им яд. Они берегли яд для самых близких, она же — эта врачиха — *свой* цианистый калий отдала чужим детям!

Один только человек мог сказать во всеуслышание правду: Черняков*. Ему бы поверили. Но он покончил с собой.

* Адам Черняков (1880–1942) — инженер, общественный деятель; в 1939–1942 гг. возглавлял Еврейский совет гетто (юденрат). Узнав о планируемой массовой депортации евреев из гетто в лагерь уничтожения Трешлинку, покончил жизнь самоубийством.

Нехорошо поступил Черняков: умереть следовало с треском. Тогда это было очень нужно — умереть, призвав перед тем людей к борьбе.

Собственно, только за это мы к нему в претензии.

— Мы?

— Я и мои друзья. Те, кого нет в живых. За то, что он распорядился своей смертью как своим личным делом.

Мы знали, что умирать надо публично, на глазах у всего мира.

Разные у нас возникали идеи. Давид говорил: нужно броситься на стены — всем, кто только остался в гетто, — прорваться на арийскую сторону, усесться на валах Цитадели, рядами, друг над другом, и ждать, покуда гестаповцы расставят вокруг нас пулеметы и расстреляют поочередно, ряд за рядом.

Эстер предлагала поджечь гетто, чтобы все мы сгорели вместе с ним. «Пусть ветер развеет наш прах», — говорила она, но тогда это звучало не патетически, а по-деловому.

Большинство было за восстание. Ведь человечество условилось считать, что смерть с оружием в руках прекраснее, чем без оружия. И мы приняли это условие. Оставалось нас тогда в ЖОБе* уже

* Сокращение от «Żydowska Organizacja Bojowa» («Еврейская боевая организация») — созданная в 1942 г. в гетто военная подпольная организация, возглавлявшаяся Мордехаем Анелевичем.

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

только двести двадцать. И вообще, разве можно назвать это восстанием? Просто речь шла о том, чтобы не позволить себя зарезать, когда настанет наш черед.

Речь шла лишь о выборе способа: как умереть.

Этим интервью, переведенным на разные иностранные языки, многие были возмущены до глубины души, и некий мистер С., литератор, написал Эдельману из Штатов, что вынужден был за него заступиться. Три большие статьи опубликовал, чтобы умерить страсти, а название придумал такое: «Исповедь последнего вождя Варшавского гетто».

Люди посылали письма в газеты — на французском, английском, еврейском и других языках, — мол, зачем он все так принизил, но больше всего их задело рыбы. Те самые, которым Анелевич красил в красный цвет жабры, чтобы матери легче было продать на Сольце вчерашний товар.

Анелевич — сын торговки, подкрашивающий рыбам жабры, только этого не хватало. Так что задача у американского литератора была не из легких, а тут еще и один немец из Штутгарта прислал Эдельману трогательное письмо.

«Sehr geehrter Herr Doctor*, — писал немец (во время войны он, будучи солдатом вермахта, нес службу в Варшавском гетто), — я видел там на ули-

* Многоуважаемый господин доктор (нем).

цах трупы, множество трупов, прикрытых бумагой, я помню, это было ужасно, мы оба — жертвы этой ужасной войны, не могли бы вы мне черкнуть несколько слов?»

Разумеется, герр доктор ответил, что ему очень приятно и что он отлично понимает чувства молодого немецкого солдата, который впервые увидел прикрытые бумагой трупы.

История с литератором, мистером С., сразу напомнила ему о поездке в США в шестьдесят третьем году. Его привезли на встречу с руководителями профсоюзов. Он помнит: стоит стол, за столом человек двадцать, одни мужчины. Сосредоточенные, взволнованные лица — профсоюзные боссы, которые во время войны давали деньги на оружие для гетто.

Председательствующий приветствует его, и начинается дискуссия. О памяти. Что такое человеческая память, и нужно ли ставить памятники, или лучше строить дома — эдакие литературные дилеммы. Так что он очень старательно за собой следил, чтобы не ляпнуть чего-нибудь неподходящего, чего-нибудь вроде: «А какое это сейчас имеет значение?» Он не имел права так их огорчать. «Осторожно, — повторял он себе, — придержи язык, у них уже слезы на глазах. Они давали деньги на оружие и ходили к президенту Рузвельту, спрашивали, правда ли все, что рассказывают про гетто, так что, уж пожалуйста, будь великодушен».

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

(Это было, вероятно, после одного из первых донесений «Вацлава», Тося Голиборская тогда только-только выкупила его из гестапо за свой персидский ковер; донесение в виде микрофильма курьер провез в зубе под пломбой, и через Лондон оно попало в США, но им там трудно было поверить в эти тысячи перетопленных на мыло и тысячи сгоняемых на Умшлагплац, поэтому они отправились к своему президенту спросить, можно ли серьезно относиться к таким вещам.)

Ну и он был великодушен, позволял им с волнением рассуждать о памяти, а теперь вдруг так больно всех задел: «Разве это можно назвать восстанием?»

Возвращаясь к рыбам. Во французском переводе, в еженедельнике «Экспресс», рыбы звучали как *du poisson* и мать Анелевича, еврейская торговка с Сольца, покупала *un petit pot de peinture rouge**. Ну разве такое можно воспринимать всерьез? Разве Анелевич, подкрашивающий *peinture rouge* жабры (*les ouies*), — тот самый Анелевич?

Это напоминает попытку рассказать английским родственникам о бабушке, умиравшей от голода во время варшавского восстания. Перед самой смертью набожная старушка просила что-нибудь поесть. Ладно уж, пускай не кошерное, говорила она, пусть будет свиная отбивная.

* Маленькую баночку красной краски (*фр.*).

Но весь разговор с английскими родственниками шел по-английски, так что бабушка попросила не отбивную, а *pork-chop* и, к счастью, сразу перестала быть той умирающей бабушкой. К счастью — потому что теперь уже можно было говорить о ней без надрыва, спокойно, как принято за обедом в культурном английском доме рассказывать разные занятные истории.

Но многие настаивают, что настоящий — все-таки тот Анелевич, с *peinture rouge*. Видимо, неспроста это, раз столько людей упорствуют. И заявляют, что нельзя рассказывать такие вещи о руководителе восстания.

— Слушай, — говорит он, — давай-ка будем поосторожнее. И будем тщательно подбирать слова.

Ну что ж.

Будем очень тщательно подбирать слова и постараемся ничем никого не задеть.

В один прекрасный день раздается звонок. У телефона американский литератор, мистер С. Он в Варшаве. Виделся с Антеком и Целиной, но об этом — при личной встрече.

Ну — это уже дело серьезное. Можно не обращать внимания на то, что говорят все на свете, но мнением двух людей пренебречь нельзя, и люди эти — как раз Целина и Антек. Заместитель Анелевича, представитель ЖОБа на арийской стороне, который вышел из гетто перед самым началом восстания, и Целина, которая была с ними в гетто

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

все время, с первого дня, и вместе с ними ушла по каналам.

До сих пор Антек молчал. А тут приезжает мистер С. и говорит, что видел его неделю назад.

У меня складывается впечатление, что Эдельман немного волнуется перед этой встречей. Как оказалось — напрасно. Антек (по словам мистера С.) заверяет его в своих дружеских чувствах и уважении и в целом, за исключением некоторых деталей, интервью одобряет.

— За исключением каких деталей? — спрашиваю я у мистера С.

— Антек, например, сказал, что вовсе не двести человек участвовало в восстании. Их было больше — пятьсот, даже шестьсот.

(— Антек утверждает, что вас было шестьсот. Может быть, исправим эту цифру?)

— Нет, — говорит Эдельман. — Нас было двести двадцать.

— Но Антеку хочется, мистеру С. хочется, всем очень хочется, чтобы вас было хоть немножко больше... Исправим?

— Да это же не имеет значения, — говорит Эдельман со злостью. — Неужели вы все и вправду не можете понять, что это уже не имеет значения?!

Ага, и еще кое-что. Ну конечно, еще история с рыбами.

Не Анелевич их подкрашивал, а его мать. «Запишите это себе, — говорит мне мистер С., литератор, — это очень важно».

Возвращаюсь к тому, что нужно с умом подбирать слова.

Через три дня после выхода из гетто Целеменский отвел его к представителям политических партий, которые хотели выслушать отчет о восстании. Он был единственным оставшимся в живых членом штаба и заместителем Анелевича — пришлось докладывать. «За эти двадцать дней, — говорил он, — можно было убить больше немцев и спасти больше своих. Но, — говорил он, — мы не были толком обучены и не знали правил ведения боя. Кроме того, — говорил он, — немцы тоже умели хорошо драться».

А те переглядывались, не произнося ни слова, и наконец один из них сказал: «Надо его понять, это же не нормальный человек. Это развалина».

Оказывается, он говорил не так, как следовало бы говорить.

— А как следует говорить? — спросил он.

Говорить следует с ненавистью, с пафосом, переходя на крик, — нет иного способа выразить все это, кроме как криком.

Так что он с самого начала не годился в рассказчики, поскольку не умел кричать. И в герои тоже не годился, поскольку ему был чужд пафос.

Вот уж поистине невезение.

Единственный, который уцелел, не годился в герои.

Поняв это, он тактично замолчал. И молчал довольно долго, тридцать лет, а когда наконец загово-

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

рил, сразу стало ясно, что для всех было бы лучше, если б он продолжал молчать.

На встречу с представителями партий он ехал на трамвае, впервые после выхода из гетто ехал на трамвае, и тогда с ним случилось страшное. Ему безумно захотелось не иметь лица. И не потому, что кто-то мог бы обратить на него внимание и выдать, нет, он просто почувствовал, что у него отталкивающее, черное лицо. Лицо с плаката «ЕВРЕИ — ВШИ — СЫПНОЙ ТИФ». А у всех, кто стоит вокруг, светлые лица. Вокруг красивые, спокойные люди; они могут быть спокойны, потому что осознают свою светлую красоту.

Он сошел с трамвая на Жолибоже, возле опрятных домиков, улица была пуста, только одна старушка поливала в садике цветы. Она поглядела на него из-за сетчатой ограды, а он старался идти так, будто его вроде и нет, старался занимать как можно меньше места в этом залитом солнцем пространстве.

Сегодня по телевизору показывали Кристину Крахельскую. У нее были светлые волосы. Она позировала Нитшовой* для памятника Сирене, писала стихи, пела думки и погибла среди подсолнечников во время варшавского восстания.

* Людвика Нитшова (1889–1989) — скульптор, автор, в частности, памятника Варшавской сирене на набережной Вислы (1939); Сирена с мечом в одной и щитом в другой руке — герб Варшавы.

Какая-то женщина рассказала: Кристина бежала садами, но была такая высокая, что не могла, даже пригнувшись, укрыться за этими подсолнечниками.

Итак, стоит теплый августовский день. Она сколола на затылке свои длинные светлые волосы. Написала: «Эй, ребята, примкнуть штыки», перевязала раненого, а теперь бежит в солнечном блеске.

Какая прекрасная жизнь и прекрасная смерть. По-настоящему эстетичная. Только так надо умирать. Но так живут и умирают красивые и светлые люди. Черные и некрасивые живут и умирают неэффектно: в страхе и темноте.

(У женщины, которая рассказывает о Крахельской, пожалуй, можно было бы прятаться. Она не накрашена, давно не заглядывала в парикмахерскую, наверняка — этого не видно по телевизору — широковата в бедрах и по горам ходит, обвязав вокруг пояса свитер.

Мужу даже незачем было бы знать, что она кого-то прячет, только следовало соблюдать осторожность и днем, между половиной четвертого и четырьмя, не занимать уборную. У него очень регулярно работает желудок, и туалетом он пользуется сразу же по возвращении домой, еще до обеда.)

Черные и некрасивые лежат, ослабев от голода, в сырых постелях и ждут, покуда кто-нибудь принесет им овсянку на воде или чего с помойки. Все

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

серое — волосы, лица, постель. Карбидную лампу жгут бережливо. Их дети на улице вырывают у прохожих из рук свертки в надежде, что там окажется хлеб, и мгновенно все пожирают. В больнице распухшим от голода малышам дают ежедневно по пол-яйца в порошке и по таблетке витамина С — дележкой занимаются врачи, чтобы не травить душу нянечке, которая тоже распухла. (Только медицинскому персоналу больницы полагался продовольственный паек: пол-литра супа и шестьдесят граммов хлеба на человека. На специальном собрании было решено отказаться от двухсот граммов супа и двадцати граммов хлеба и разделить их между истопниками и нянечками. Таким образом, все получали поровну: по триста граммов супа и сорок — хлеба.) На Крохмальной, 18 тридцатилетняя женщина, Ривка Урман, отгрызла кусочек от своего сына, Берко Урмана, двенадцати лет, накануне умершего от голода. Люди во дворе обступили ее молча, в гробовой тишине. У нее были серые всклокоченные волосы, серое лицо и безумные глаза. Приехала полиция и составила протокол. На Крохмальной, 14 нашли на улице разлагающийся труп ребенка, подброшенный матерью, Худесой Боренштайн, из 67-й квартиры, ребенка звали Мошек. (Погребальные дроги общества «Вечность» увезли труп, а Боренштайн Худеса призналась, что подбросила его, потому что община отказывается хоронить бесплатно, да и она сама тоже скоро умрет.)

Людей водят в баню, чтоб совсем не завшивели. Перед баней на Спокойной люди ждали на улице день и ночь, а когда утром привезли суп только для детей, пришлось вызвать полицию, чтобы она разогнала толпу, вырывавшую у детей еду.

Смерть от голода была столь же неэстетична, как жизнь. *Некоторые засыпают на улице с куском хлеба во рту или при попытке произвести физическое усилие, например, когда пускаются бежать, чтобы отнять у кого-то хлеб.*

Это фрагмент научного труда.

Врачи в гетто занимались исследованием голода, потому что механизм голодной смерти был тогда медицине неясен и нельзя было упускать подвернувшуюся возможность. Притом возможность исключительную. *Никогда еще, писали они, медицина не располагала таким обильным экспериментальным материалом.*

Для врача эта проблема интересна и сегодня.

— Взять, к примеру, — говорит доктор Эдельман, — нарушение водно-белкового обмена в организме. Пишут они там что-нибудь насчет электролитов? — спрашивает он. — Вместе с водой в соединительную ткань уходят калий и соли. Проверь, догадались ли они о роли белка.

Нет, насчет электролитов они ничего не пишут. Разочарованно отмечают, что им не удалось установить столь интересный для врача механизм образования отеков при голодной болезни.

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

Возможно, они бы докопались до роли белка, если б им не пришлось внезапно прервать работу, — а они вынуждены были ее прервать, в чем оправдываются во вступительной части. Исследования не удалось продолжить, *поскольку подверглось уничтожению экспериментальное сырье — человеческий материал*. Началась ликвидация гетто.

Сразу же после уничтожения сырья погибли и сами исследователи.

Жив только один из них: доктор Теодосия Голиборская. Она изучала обмен веществ в состоянии покоя у голодных людей.

Она пишет мне из Австралии, что хотя и знала по литературе о том, что интенсивность обмена веществ в состоянии покоя при голодании снижается, но не думала, что до такой степени; она это связывает с уменьшением частоты и глубины дыхательных движений, то есть с малым количеством кислорода, потребляемого организмом голодающего.

(Я спрашиваю у доктора Голиборской, пригодились ли ей впоследствии во врачебной практике эти исследования. Она пишет, что нет, не пригодились, так как все, кого она лечила в Австралии, были сыты или даже перекормлены.)

А вот и некоторые результаты исследований, представленные в работе «Голодная болезнь. Клинические исследования голода в Варшавском гетто в 1942 году».

Мы различаем три степени истощения. При истощении I степени имеет место потеря избыточного жира; люди при этом выглядят моложе своего возраста. *С этим мы часто встречались в довоенное время после возвращения пациентов из Карлсбада, Виши и т. д.* II степень истощения наблюдалась почти во всех изученных нами случаях. Исключение составляет истощение III степени — кахексия, являющаяся чаще всего предсмертным состоянием.

Перейдем к описанию изменений в отдельных системах и органах.

Вес составлял в среднем от 30 до 40 кг и был на 20–25 процентов ниже довоенного. Самый низкий вес — 24 кг (у тридцатилетней женщины).

Кожа бледная, иногда синюшная.

Ногти, особенно на руках, когтеобразные...

(Возможно, мы говорим об этом излишне подробно и чересчур долго, но только потому, что непременно нужно понять, какова разница между красивой жизнью и жизнью неэстетичной и между красивой и неэстетичной смертью. Это очень важно. Ведь все, что произошло потом — после девятнадцатого апреля 1943 года, — было вызвано желанием умереть красиво.)

Отеки появлялись прежде всего на лице в области век, на стопах, у некоторых со временем отек распространялся на весь кожный покров. При уколе из подкожной клетчатки выделялась жидкость.

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

Уже ранней осенью наблюдались случаи отморожения пальцев рук и ног.

Лица лишены выражения, маскообразны.

Наблюдалось избыточное оволосение всего тела, особенно у женщин; на лице — подобие усов и бакенбард; иногда оволосение век. Кроме того, вырастали длинные ресницы...

Психическое состояние: интеллект снижен.

Из деятельных, энергичных люди превращались в апатичных, вялых. Их почти все время клонило ко сну. Они забывали про голод, не осознавали, что хотят есть, однако при виде хлеба, сладостей или мяса внезапно становились агрессивными и с жадностью набрасывались на еду, хотя могли быть за это избиты, а спастись бегством были не в состоянии.

Переход от жизни к смерти медленный, почти незаметный. Смерть была подобна физиологической кончине от старости.

Данные вскрытия. (Учтены случаи полного вскрытия в количестве 3282.)

Цвет кожи умерших от голода: бледный или мертвенно-бледный — 82,5 %, темный или коричневый — 17 %.

Отеки обнаружены у одной трети подвергнутых вскрытию, преимущественно на нижних конечностях. Туловище и верхние конечности отекали реже. В большинстве случаев отечность наблюдалась у людей с бледной кожей. Напрашивается

вывод, что бледная кожа способствует отечности, а коричневая — сухому истощению.

Выдержки из протокола вскрытия (М. прот. вскр. 8613):

Женщина, 16 лет. Клинический диагноз: Inanitia per tagna. Явные признаки недоедания. Мозг 1300 г, очень мягкий, отекий. В брюшной полости ок. 2 литров желтоватой прозрачной жидкости. Сердце — меньше кулака покойной.

Часто отмечалась атрофия отдельных органов.

Как правило, атрофии подвергались сердце, печень, почки и селезенка.

Атрофия сердца констатирована в 83 % случаев, атрофия печени — в 87 %, атрофия селезенки и почек — в 82 %. Атрофии подвергались и кости, которые становились пористыми и мягкими.

Значительнее всего уменьшалась печень — от примерно двух килограммов у здорового человека до пятидесяти четырех граммов.

Самый низкий вес сердца составлял сто десять граммов.

Мозг почти не уменьшался и весил по-прежнему около тысячи трехсот граммов.

В это же самое время Профессор был хирургом в Радоме, в больнице Св. Казимира. (Профессор — высокий, седоватый, элегантный. Очень красивые руки. Любит музыку, сам когда-то охотно играл на скрипке. Знает кучу иностранных языков. Его

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

прадед был наполеоновским офицером, а дед — повстанцем.)

В ту больницу каждый день привозили раненых партизан.

У партизан в основном были прострелены животы. Тех, кто получал ранения в голову, не всегда удавалось довести. Так что Профессор оперировал желудки, селезенки, мочевые пузыри и толстый кишечник, за день ему случалось прооперировать тридцать—сорок животов.

Летом сорок четвертого начали привозить грудные клетки, потому что под городом Варка был развернут плацдарм. Много грудных клеток — развороченных шрапнелью, или осколком гранаты, или обломком оконной рамы, вколоченным в грудь. Легкие и сердца вылезали наружу, надо было как-то их залатать и впихнуть на место.

Когда же январское наступление покатилося на запад, прибавились еще и головы: у армии имелся транспорт и раненых привозили вовремя.

— Хирург должен постоянно упражнять пальцы, — говорит Профессор. — Как пианист. У меня была ранняя и богатая практика.

Война — превосходная школа для молодого хирурга. Благодаря партизанам Профессор приобрел колоссальную сноровку в оперировании животов, благодаря фронту — в оперировании голов, но самую важную роль сыграла Варка.

Когда шли бои за плацдарм, Профессор впервые увидел открытое бьющееся сердце.

До войны никто не видел, как бьется сердце, даже у животных: кто станет мучить животное, раз все равно медицине это никогда не пригодится. Только в сорок седьмом в Польше впервые была вскрыта грудная клетка, и сделал это профессор Крафоорд, специально прибывший из Стокгольма, но и он не вскрыл даже перикарда. Все тогда как замороженные глядели на околосердечную сумку, которая ритмично пульсировала, словно в ней сидел маленький живой зверек, и только Профессор — а вовсе не Крафоорд, — только он один точно знал, как выглядит то, что беспокойно подрагивает в сумке. Потому что только он, а не всемирно известный шведский гость извлекал из сердец простых парней обрывки тряпок, осколки пуль и обломки оконных рам, благодаря чему, кстати, всего пять лет спустя, двадцатого июня пятьдесят второго года, сумел вскрыть сердце некоей Геневефы Квапиш и устранить стеноз митрального клапана.

Существует тесная и закономерная связь между сердцами времен Варки и всеми прочими, которые он оперировал потом, — включая, разумеется, и сердце пана Рудного, мастера по обслуживанию текстильных машин, и сердце пани Бубнер (чей благословенной памяти супруг был активным членом иудейской общины, отчего пани Бубнер была совершенно спокойна перед операцией и даже успокаивала врачей. «Пожалуйста, не волнуйтесь, — говорила она им, — мой муж в прекрасных отноше-

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

ниях с Богом, уж он там наверняка все устроит как надо»), и сердце пана Жевуского, председателя Автоклуба, и еще много-много других сердец.

Рудному заменили сердечную артерию веной из ноги, чтобы расширить путь крови, когда у него начинался инфаркт. Жевускому пересадили такую вену, когда инфаркт уже произошел. Пани Бубнер изменили направление кровотока в сердце...

Страшно ли Профессору перед такой операцией?

О да. Очень. Он чувствует страх здесь, вот тут, под ложечкой.

И всякий раз надеется, что в последнюю минуту что-нибудь ему помешает: терапевты запретят, пациент передумает, может, даже он сам убежит из кабинета...

Чего боится Профессор? Господа Бога?

О да, Господа Бога он очень боится, но не больше всего на свете.

Боится, что пациент умрет?

Этого тоже, но он знает — и все знают, — что без операции больной все равно умрет.

Так чего же он боится?

Он боится, что коллеги скажут: ОН ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕТ НА ЧЕЛОВЕКЕ. А это самое тяжкое обвинение из всех возможных.

У врачей есть своя квалификационная комиссия, и Профессор рассказывает про одного хирурга, который когда-то сбил ребенка, тут же в своей ма-

шине отвез к себе в отделение и вылечил. Малыш здоров, у матери нет претензий, однако комиссия сочла, что лечение ребенка в собственном отделении неэтично и врач заслуживает наказания. Хирурга отстранили от работы, и вскоре он умер от сердечного приступа.

Профессор рассказывает об этом хирурге вроде бы ни к селу ни к городу. Потому что я спросила, чего он боится.

Этика сильно осложняет жизнь кардиохирурга.

Например, если б он не прооперировал Жевуского, Жевуский бы умер. Ничего в этом нет особенного: столько людей умирает от инфаркта... Каждому понятно без объяснений.

Но если бы Жевуский умер после операции — о, это уже совсем другое дело. Тогда кто-нибудь мог бы сказать, что нигде в мире подобных операций не делают. А кто-нибудь еще спросил бы, не слишком ли легкомысленно Профессор поступил, и это уже могло подорвать его репутацию...

Ну вот, теперь нам будет гораздо легче разобраться в том, о чем думает Профессор, когда сидит перед операцией в своем кабинете, а в операционном блоке возле Жевуского начинает хлопотать анестезиолог.

Профессор уже давно сидит в этом кабинете, хотя, честно говоря, вовсе не обязательно, чтобы за стеной лежал именно Жевуский. В блоке с равным успехом могут готовить к операции Рудного или

Бубнер... надо, однако, признаться, что перед Жевуским Профессор волновался больше всего.

Дело в том, что Профессор очень не любит оперировать интеллигентские сердца. Интеллигент перед операцией слишком много думает, у него чересчур развито воображение, он непрерывно задает себе и другим вопросы, а это потом неблагоприятно сказывается на пульсе, давлении и вообще на ходе операции. А такой человек, как Рудный, с большим доверием отдается в руки хирургов, лишних вопросов не задает, потому и оперировать его значительно легче.

Ну ладно, пускай это будет Жевуский и пусть Профессор сидит в кабинете перед операцией, которую он должен провести на пораженном острым инфарктом интеллигентском сердце, несколько часов назад доставленном реанимобилем из варшавской клиники.

Профессор в кабинете один.

Рядом, за дверью, сидит на стуле доктор Эдельман и курит сигарету за сигаретой.

В чем же, собственно, дело?

А вот в чем: это Эдельман сказал, что Жевуского можно оперировать, несмотря на инфаркт, и если бы не его слова, не было бы всей этой истории.

Не было бы, впрочем, и Рудного, которого Профессор прооперировал, когда инфаркт мог произойти с минуты на минуту, а все учебники кардиохирургии утверждают, что именно в этом состоянии оперировать нельзя.

Не было бы также идеи изменить направление кровотока у пани Бубнер (а возможно, и самой пани Бубнер уже бы не было, — впрочем, в данный момент это к делу не относится).

Поскольку сцена в кабинете нам нужна, в общем-то, для наглядности, можно на минуту оставить Профессора за его письменным столом и объяснить, что же это за идея с кровотоком.

Началось с того, что во время какой-то операции у одного из ассистентов возникло сомнение, какой сосуд Профессор пережал: артерию или вену — иногда они бывают очень похожи. Остальные говорят, все в порядке, артерию, только этот ассистент упорствует: «Вену, я уверен», — и Эдельман, вернувшись домой, начинает размышлять, что бы произошло, если б это в самом деле была вена. И начинает набрасывать на листочке схему: кислородсодержащую кровь, которая, как известно из школьных учебников, течет к сердцу по артериям, можно бы из аорты направить прямо в вены, которыеходимы, поскольку не склерозируются и потому не могут стать причиной инфаркта. А дальше бы эта кровь потекла...

Эдельман пока еще не знает, куда бы потекла кровь, но на следующий день показывает свой рисунок Профессору. Профессор смотрит на схему. «Можно бы прямо сюда, вот так, и тогда мышца получит кровь...» — говорит Эдельман, а Профессор вежливо кивает. «Да, — соглашается он, — это

очень интересно». Впрочем, что еще, кроме вежливого внимания, заслуживает человек, который говорит, что кровь могла бы поступать в сердце не по артериям, а по венам?

Эдельман возвращается в свою больницу, а Профессор — вечером — домой и кладет эту схему на тумбочку возле кровати. Профессор всегда спит при свете, чтобы быстро прийти в себя, если разбудят ночью, поэтому он и сейчас не гасит лампу и, когда просыпается через четыре часа, может сразу взять в руки листок с рисунком Эдельмана.

Трудно сказать, когда Профессор перестает разглядывать схему и сам начинает что-то чертить на бумаге (а именно: мостик, соединяющий аорту с венами), однако известно, что в один прекрасный день он спросит: «Ну а что будет с отдавшей кислород кровью, когда вена возьмет на себя функцию артерии?»

А Эдельман и Эльжбета Хентковская ему ответят, что некая пани Ратайчак-Пакальская как раз работает над диссертацией по анатомии сердечных вен и из ее наблюдений следует, что кровь сможет оттекать от сердца по другим венозным сосудам, Вьессана-Тебезиуса.

Эдельман и Эльжбета проводят эксперимент на сердцах трупов — вводят в вены метиленовый синий, чтобы поглядеть, пойдет ли краситель дальше. Пошел.

Но Профессор говорит: и что с того? Ведь в вене не было давления.

Тогда они вводят этот краситель под давлением — и снова жидкость находит выход.

Но Профессор говорит: и что с того? Ведь это всего лишь модель. А как поведет себя живое сердце?

Ну, на это никто не может ему ответить, потому что на живом сердце еще никто таких экспериментов не ставил. Чтобы узнать, как себя поведет живое сердце, нужно на живом сердце сделать операцию.

Чье же живое сердце должен прооперировать Профессор?

Минутку, мы забыли про Агу, которая как раз пошла в библиотеку.

Ага Жуховская отправляется в библиотеку, когда возникает какая-нибудь новая идея. Но прежде чем туда пойти, говорит: «Э-э, чепуха». Например, Эдельман бросает: «Как знать, а вдруг можно шунтировать в острой стадии?» И Ага говорит: «Э-э, чепуха», идет в библиотеку, приносит *American Heart Journal* и торжественно восклицает: «Здесь написано, что это нонсенс!» После чего они проводят шунтирование в остром периоде инфаркта, и все великолепно получается.

Ага говорит, что, когда скажешь пару раз: «Э-э, чепуха», а потом видишь, что твой оппонент, вопреки всяким авторитетам, оказывается прав, то в конце концов перестаешь пожимать плечами. Больше того, стараешься забыть, что пишут эти

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

авторитеты, и, услышав очередную идею, пробуешь перестроить образ мыслей.

Но тогда еще доктор Жуховская, приговаривая: «Э-э, чепуха», пошла в библиотеку и принесла выдержку из *Encyclopedia of Thoracic Surgery*. Тридцать с лишним лет назад Клод Бек, американец, делал нечто подобное, но смертность среди его пациентов была так высока, что он прекратил эксперименты...

Ну так чье же живое сердце оперировать?..

Теперь надо сделать отступление и поговорить об инфаркте передней стенки сердца с блокадой правой ножки желудочкового пучка. Из такого инфаркта им еще никого не удавалось вытащить.

Люди в таких случаях умирают как-то особому: лежат спокойные, тихие и все тише становятся, все спокойнее, и все в них постепенно, мало-помалу, умирает. Ноги — печень — почки — мозг... Пока не останавливается сердце и человек не умирает окончательно, причем происходит это так тихонечко, незаметно, что даже соседи по палате не обратят внимания.

Когда в отделение привозят человека с инфарктом передней стенки и блокадой правой ножки желудочкового пучка, известно, что человек этот должен умереть.

Так вот, однажды привозят женщину с таким инфарктом. Эдельман звонит в клинику, Профессору: «Эта женщина через несколько дней умрет, спасти ее можно, только изменив направление кровотока

в сердце». Но по этой женщине вовсе не видно, что она должна умереть.

Через несколько дней больная умирает.

Некоторое время спустя привозят мужчину с точно таким же инфарктом. Звонят Профессору: «Если вы не прооперируете этого человека...»

Через несколько дней больной умирает.

Потом опять мужчина. Потом молодой парень, потом две женщины...

Профессор всякий раз приходит в отделение. Он уже не говорит, что, возможно, эти люди выживут без операции. Он молча смотрит или спрашивает у Эдельмана: «Что вам, собственно, от меня нужно? Хотите, чтобы я сделал операцию, которая еще никому не удавалась?..» На что Эдельман отвечает: «Я только говорю, профессор, что мы не в состоянии спасти этого человека, а никто, кроме вас, такой операции сделать не сумеет».

Так проходит год.

Умирает двенадцать или тринадцать человек.

На четырнадцатый раз Профессор говорит: «Хорошо. Попробуем». (Пациентка — старая женщина по фамилии Бубнер.)

Вернемся в кабинет.

Профессор, как мы помним, сидит там один, на письменном столе перед ним лежат коронарограммы Жевуского, а сам Жевуский лежит в операционной.

По другую сторону двери, на стуле, сидит доктор Эдельман и курит сигарету за сигаретой.

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

Самое скверное сейчас, что доктор Эдельман сидит на стуле и, вне всяких сомнений, не собирается уходить.

Почему это так уж важно?

По очень простой причине.

Из кабинета есть только один выход, но единственный путь заблокирован — Эдельманом.

А разве не может Профессор сказать: простите, я только на секунду, — торопливо пройти мимо Эдельмана и уйти восвояси?..

Разумеется, может. Один раз он уже так поступил. Перед Рудным. И что же? Сам вернулся, под вечер, Рудный все еще ждал его в операционном блоке, а Эдельман с Хентковской и Жуховской сидели на стульях в его приемной.

Да и куда, собственно, идти?

Домой? Его немедленно там найдут.

К кому-нибудь из детей? Найдут самое позднее завтра.

Уехать из города? Пожалуй... Но в конце концов все равно придется вернуться — и тогда он застанет здесь их всех: и Жевуского, и Эдельмана, и Жуховскую... Впрочем. Жевуского, возможно, уже не застанет.

Рудный, к которому он тогда, под вечер, вернулся, — жив.

И пани Бубнер, та, четырнадцатая, с кровотоком, тоже.

Ах да, мы говорили о кровотоке.

«Хорошо. Попробуем». На этом мы остановились, и Профессор приступает к операции. К операции на сердце пани Бубнер, не надо путать разные вещи. Вполне логично, что Профессор вспоминает сейчас, как оперировал Рудного: чтоб самого себя подбодрить.

(Тогда тоже им все говорили: «Это же абсурд, сердце захлебнется кровью...»)

В операционной тишина.

Профессор перевязывает большую вену сердца, чтобы воспрепятствовать оттоку крови и посмотреть, что произойдет...

(Клод Бек не перевязывал вену, что впоследствии привело к правожелудочковой недостаточности и смерти. И потому Профессор улучшает этот метод — нет, он не согласен со словом «улучшает»: он лишь МОДИФИЦИРУЕТ метод Клода Бека.)

Ждет...

Сердце работает нормально. Теперь он соединяет аорту с веной специальным мостиком, и артериальная кровь начинает поступать в вены.

Снова ждет.

Сердце дрогнуло. Раз, другой. Потом еще несколько быстрых сокращений, и сердце начинает работать — медленно, ритмично. Голубые вены становятся красными от артериальной крови и начинают пульсировать, а кровь оттекает — никто точно не знал, каким будет новый путь, — кровь нашла выход: она течет по более мелким сосудам.

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

Еще четверть часа в тишине. Сердце работает без перебоев...

Профессор мысленно заканчивает ту операцию и опять с радостью осознает, что пани Бубнер жива.

Об успешной операции Рудного шумела вся пресса. Об изменении направления кровотока у Бубнер Профессор рассказал на съезде кардиохирургов в Бад-Наухайме, и все встали с мест и ему аплодировали. Профессора Борст и Гоффмайстер из ФРГ даже высказали предположение, что этот метод решит проблему склероза коронарных сосудов, а хирурги из Питсбурга начали, первыми в США, оперировать по его методу. Однако если операция Жевуского окончится неудачей, скажет ли кто-нибудь: «Но ведь Рудный и Бубнер живы»?

Нет, такого никто не скажет. Зато все скажут: «Он оперировал в острой стадии инфаркта, значит, Жевуский умер из-за него».

Может создаться впечатление, что Профессор слишком долго сидит в своем кабинете и что следовало бы сделать наш рассказ хоть немного динамичнее.

Увы, попытка убежать, которая, безусловно, здорово бы украсила эту историю, не удалась. Что же еще остается?

Как что? Остается еще Господь Бог.

Но не тот, с которым благочестивый еврей Бубнер договорился насчет успешного исхода операции своей жены.

Это тот Господь Бог, которому по воскресеньям, в одиннадцать утра, в обществе своей супруги, троих детей, зятьев, невестки и кучки внучат молится Профессор.

В данный момент Профессор вполне мог бы помолиться у себя в кабинете — только о чем просить Бога?

Да, действительно, о чем?

Чтобы Жевуский в последнюю минуту, уже на операционном столе, передумал и взял обратно свое согласие на операцию? Или чтобы вдруг отказалась его жена, плачущая сейчас в коридоре?

Да, об этом бы теперь Профессор охотно помолился.

Только — минуточку! — отказавшись от операции, этот человек (о чем Профессору отлично известно) сам подписал бы себе смертный приговор. Так что же, Профессор должен просить для него верной смерти?

Таких операций до него не делали, это правда, а если и делали, то иначе. Но и сердце до Барнарда не пересаживали. Должен ведь, в конце концов, кто-то попробовать, чтоб медицина не стояла на месте. (Профессор, как мы видим, подключает социальную мотивировку.) А когда можно пробовать? Тогда, когда есть твердая уверенность, что операция имеет смысл. У Профессора такая уверенность есть. Ход операции он продумал в мельчайших подробностях, и все знания, какими он обладает, и опыт, и

интуиция — все убеждает его в логичности и необходимости того, что он намеревается сделать. Вдобавок — терять тут нечего. Профессор знает, что без операции человек все равно умрет. (Это точно, что Жевуский умрет без операции?)

И Профессор зовет терапевтов.

— Жевуский умрет, если я его не прооперирую? — спрашивает он в сотый раз.

— Это второй инфаркт, профессор. Второй обширный инфаркт.

— В таком случае он и операции не выдержит... Зачем лишние мучения?

— Пан профессор, его привезли из Варшавы не для того, чтоб он умер, а чтобы мы его спасли.

Это сказал доктор Эдельман. Хорошо доктору Эдельману говорить! В случае чего претензии будут не к нему.

Эдельман свято убежден в своей правоте. Профессор тоже убежден, но ведь не кому другому, а ему, Профессору, надо своими руками это доказать.

— Почему, — спрашиваю я, — ты был так уверен, что эти операции надо делать?

— Был уверен, и все. Потому что видел: они целесообразны и должны удалиться.

— Послушай, — говорю я, — а не потому ли ты так легко принимаешь подобные решения, что освоился со смертью?.. Гораздо больше с ней свыкся, чем, например, Профессор?

— Нет, — отвечает он. — Надеюсь, что не по этому. Только... чем ближе знаком со смертью, тем большую несешь ответственность за жизнь. Всякий, даже самый ничтожный, шанс сохранить жизнь становится чрезвычайно важным.

(Шанс умереть имелся всегда. Надо было дать шанс на жизнь.)

Внимание. Профессор вводит новый персонаж. Доцента Врубель.

— Попросите сюда доцента Врубель, — говорит он.

Все ясно.

Доцент Врубель — пожилая, нерешительная, осторожная дама, кардиолог из клиники Профессора. Уж она-то наверняка не посоветует ему ничего неподходящего, ничего мало-мальски рискованного. Профессор спросит: «Ну что, пани Зофья? Что советуете сделать?» А пани Зофья скажет: «Лучше подождать, профессор, мы ведь не знаем, как поведет себя такое сердце...» И тогда Профессор обратится к Эдельману: «Видите, доктор. Мои кардиологи мне не позволяют!» (Слово «мои» он подчеркнет, поскольку доцент Врубель — сотрудник его клиники, а доктор Эдельман — городской больницы. Но может быть, я ошибаюсь. Может быть, он просто так скажет, ничего не подчеркивая, и слово «мои» будет означать лишь то, что Профессор, как руководитель клиники, обязан считаться со своими врачами.)

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

И вот входит доцент Врубель. Смущается, краснеет, опускает глаза. И говорит тихонько:

— Надо оперировать, профессор.

Ну, нет. Это уж чересчур.

— Врубель! — кричит Профессор. — И ты против меня?!

Он делает вид, будто говорит шутливо, но у него возникает странное чувство, которое сегодня его уже не покинет.

Он встанет, сгребет со стола коронарограммы, пойдет в блок, где его ждут спящий под наркозом Жевуский, и хирурги в голубых масках, и операционные сестры, — и с первой до последней минуты ему будет казаться, что он совершенно один, несмотря на присутствие всех этих людей.

Один на один с сердцем, которое трепещет в своей сумке, как маленький испуганный зверек.

Все еще трепещет.

Я показывала то, что до сих пор написала, разным людям — а они не понимают. Почему я не рассказала, как он спасся? Еще не известно, как спасся, а уже сидит под дверью Профессора. Но ведь он должен там сидеть, если бы его не было, Профессор уже давно был бы дома, перед телевизором, на середине «Вечерних новостей», расслабившийся и совершенно спокойный.

Так что он обязательно должен сидеть под этой дверью вместе с Агой и Эльжбетой Хентковской.

Правда, Эльжбеты уже нет. То есть она там, когда они сидят и ждут, но ее нет сейчас, когда я об этом пишу. И существует награда имени Эльжбеты Хентковской, которую будут присуждать за выдающиеся достижения в области кардиологии.

Денежный фонд для этой награды — гонорары за работу «Инфаркт миокарда». В той работе — о голодной болезни — Эдельман не мог принимать участия, поскольку в больнице в гетто был всего лишь посыльным, но в этой он описал все, что узнал о людях с сердечными заболеваниями. Теодосия Голиборская говорила ему, что в больнице догадывались о других его занятиях, про которые не следовало расспрашивать, и потому особенно не загружали, разве что ежедневно посылали в санэпидстанцию с кровью тифозных больных, после чего он уже мог занять место у входа на Умшлагплац, где и стоял изо дня в день в течение шести недель, пока все четыреста тысяч не прошли мимо него к вагонам.

В фильме «Реквием по 500 000»^{*} показано, как они идут. Видны даже буханки хлеба, которые они держат в руках. Немецкий кинооператор стоял в дверях вагона и оттуда снимал бегущую толпу, спотыкающихся старух, матерей, волокущих за собою детей. Люди бегут с этим хлебом прямо на нас и на журналистов из Швеции, которые приехали со-

^{*} Польский документальный фильм о восстании в гетто (1963), режиссеры Ежи Боссак и Вацлав Казмерчак.

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

бирать материалы о гетто, бегут прямо на Ингер, шведскую журналистку, которая смотрит на экран удивленными голубыми глазами, стараясь понять, почему столько людей бежит к вагону, — и тут раздаются выстрелы. Насколько же всем стало легче, когда началась стрельба. Насколько стало легче, когда взметенная взрывом земля заслонила бегущих и их хлеб, а диктор сообщил о начале восстания, что уже можно было вразумительно объяснить Ингер (*rising's broken out, April forty three**)...

Я говорю Эдельману об этом — а еще говорю, что и вправду хорошо придумано с этой стрельбой. Хорошо, что фонтаны земли заслонили людей, — и тут он начинает кричать. Он кричит, что я, должно быть, считаю, будто бегущие в вагон люди хуже тех, которые стреляют. Ну конечно, я наверняка так считаю, ведь так считают все, даже тот американский профессор, который недавно его посетил и говорил ему: «Вы шли на смерть, как бараны». Американский профессор в свое время высадился на французском пляже, пробежал четыреста или пятьсот метров под смертоносным огнем, не пригибаясь и не бросаясь на землю, и был ранен, а теперь полагает, что если кто-то пробежал по такому пляжу, то имеет право потом говорить: «человек должен бежать», или «человек должен стрелять», или «вы шли на смерть, как бараны». Жена про-

* Началось восстание, апрель сорок третьего (*англ.*).

фессора добавила, что выстрелы нужны будущим поколениям. Смерть людей, погибающих молча, — ничто, поскольку ничего после себя не оставляет, а те, что стреляют, оставляют легенду — ей и ее американским детям.

Он отлично понимал, что профессор, у которого есть рубцы от ран, есть ордена и кафедра, хочет иметь в своей биографии еще и эти выстрелы, и все же пробовал объяснять ему разные вещи: что смерть в газовой камере не хуже, чем смерть в бою, и что недостойна смерть только тогда, когда пытаешься выжить за чужой счет, — но объяснить так ничего и не удалось, и он начал кричать. Одна женщина, присутствовавшая при этом разговоре, старалась его оправдать. «Простите его, — смущенно говорила она, — его нужно простить...»

— Детка, — говорит Эдельман, — ты должна наконец понять: люди шли спокойно и с достоинством. Страшная это штука — спокойно идти на смерть. Гораздо трудней, чем стрелять. Ведь куда легче умирать стреляя — куда легче было умирать нам, чем человеку, который идет к вагону, а потом едет в вагоне, а потом роет себе могилу, а потом раздевается догола... Теперь ты понимаешь? — спрашивает он.

— Да, — говорю я, — понимаю!

Нам действительно гораздо легче смотреть на тех, кто умирает стреляя, чем на человека, который роет себе могилу.

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

— Я видел однажды на Железной сборище. Люди столпились вокруг бочки — обыкновенной деревянной бочки, на которой стоял еврей. Старый, низенький, с длинной бородой.

Возле него стояли два немецких офицера. (Двое красивых рослых мужчин рядом с маленьким сгорбленным евреем.) И эти немцы большими портняжными ножницами обстригали еврею по клочку его длинную бороду и хохотали до упаду.

Окружавшая их толпа тоже смеялась. Потому что объективно это и в самом деле было смешно: маленький человечек на деревянной бочке, с остатками бороды, укорачивающейся с каждым взмахом портняжных ножниц. Прямо тебе киношный гэг.

Гетто тогда еще не было, так что ужаса происходящего не ощущалось. Ведь ничего страшного с евреем не происходило, разве что стало ясно: можно безнаказанно загнать человека на бочку, это не наказуемо, и человек этот вызывает смех.

И знаешь что?

Я тогда понял, что самое главное — не позволить загнать себя на бочку. Никогда, никому. Понимаешь?

Все, что я делал потом, — я делал для того, чтобы не позволить себя никуда загнать.

— Но ведь война только началась, и ты еще мог уехать. Твои друзья переходили нелегально границу, убегали туда, где не было бочек...

— Это были другие люди. Замечательные ребята из культурных семей. Они прекрасно учились, в квартирах у них были телефоны и на стенах висели красивые картины. Не какие-нибудь там репродукции — подлинники. Рядом с ними я был никто. Я не принадлежал к обществу. Учился хуже, пел хуже, не умел ездить на велосипеде и не имел своего дома, потому что моя мать умерла, когда мне было четырнадцать лет. (Colitis ulcerosa, гнойное воспаление кишечника. Первый в моей жизни пациент страдал точно таким же заболеванием. Но тогда уже были энкортон и пенициллин, и он поправился за две недели.)

О чем мы говорили?

— Что твои друзья уехали.

— Видишь ли, до войны я говорил евреям, что их место здесь, в Польше. Что здесь будет социализм и они должны остаться. Ну и когда они остались, и началась война, и с евреями стало происходить то, что происходило, — я что, должен был отсюда уехать?

После войны мои друзья стали кто директором японского концерна, кто американским физиком-ядерщиком, кто профессором университета. Очень способные были ребята, я тебе говорил.

— Но к тому времени и ты уже подтянулся. Уже считался героем. Они могли принять тебя в свое блестящее общество.

— Они меня звали. Но я проводил на Умшлагплац четыреста тысяч человек. Я сам, лично. Все проходили мимо меня, пока я стоял там у ворот...

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

Послушай: перестань наконец задавать дурацкие вопросы. «Почему остался? почему остался?»

— Да я вообще тебя об этом не спрашиваю.

— ...

— Ну?

— Что «ну»?

— Поговорим о цветах. Не все ли равно, о чем говорить. Давай о цветах. В каждую годовщину восстания ты получаешь цветы, неизвестно от кого. Уже тридцать два букета.

— Тридцать один. В шестьдесят восьмом я цветов не получил. Обидно было, но уже на следующий год получил снова и получаю до сих пор. Как-то раз это были лютики, в прошлом году — розы, в этом — нарциссы; и всегда цветы желтые. Приносит их, не говоря ни слова, рассыльный из цветочного магазина.

— Не знаю, нужно ли нам об этом писать. Анонимные желтые цветы... Дешевая литература. К тебе вообще липнут банальные истории. Взять хотя бы этих проституток, которые каждый день кормили тебя булками. Кстати, стоит ли писать, что в гетто были проститутки?

— Не знаю. Наверно, не стоит. В гетто должны быть мученицы и Жанны д'Арк, верно? Но если хочешь знать, в бункере на Милой с группой Анелевича было несколько проституток и даже их сутенер. Такой, весь в татуировке, здоровенный, с бицепсами. А девушки были хорошие, хозяйственные. Мы

перебрались к ним в бункер, когда наш участок загорелся; там были все — Анелевич, Целина, Лютек, Юрек Вильнер, — и мы так радовались, что пока еще вместе... Девушки накормили нас, а у Гуты были сигареты «Юно». Это был один из лучших дней в гетто.

Когда мы потом пришли, и они уже это сделали, и не было больше ни Анелевича, ни Лютека, ни Юрека Вильнера, — девушек мы нашли в соседнем подвале.

На следующий день мы уходили по каналам.

Спустились все, я был последним, и одна из девушек спросила, можно ли им выйти с нами на арийскую сторону. А я ответил: нет.

Вот видишь.

Очень тебя прошу, не заставляй меня сейчас объяснять, почему я тогда сказал «нет».

— А раньше, в гетто, у тебя была возможность перейти на арийскую сторону?

— Я выходил на арийскую сторону легально, каждый день. Как посыльный больницы, носил кровь тифозных больных для исследования в санэпидстанцию на Новогрудской.

У меня был пропуск. В гетто было тогда всего несколько пропусков: в больнице на Чистой, в Совете общины, — а в нашей больнице только один, у меня. У членов Совета были важные дела в городе, они ходили по разным учреждениям и ездили в пролетке. А я топал со своей повязкой на рукаве по

улице, среди людей, и все на меня и на мою повязку с шестиконечной звездой смотрели. С любопытством, сочувствием, иногда с насмешкой...

Так я ходил ежедневно, к восьми утра, пару лет, и ничего плохого со мной не случилось. Никто меня не задержал, не подозвал полицейского, даже не засмеялся. Люди только смотрели. Только смотрели на меня...

— Я спросила: почему ты не остался на арийской стороне?

— Не знаю. Сейчас на такой вопрос уже не ответить.

— До войны ты был никто. Как же получилось, что спустя всего три года ты стал членом штаба ЖОБа? Одним из пяти человек, выбранных из трехсот тысяч...

— Вообще-то не я там должен был быть. Там должен был быть... Впрочем, не важно. Назовем его «Адам». Перед войной он закончил офицерское училище, участвовал в сентябрьской кампании, в обороне Модлина. Все знали, какой «Адам» смелый. Для меня он много лет был настоящим кумиром.

А тут идем мы с ним раз по Лешно, на улице полно народу, и вдруг какие-то эсэсовцы начали стрелять.

Толпа бросилась бежать. Он тоже.

Знаешь, до того я вообще не представлял себе, что он может чего-нибудь испугаться. А он, мой кумир, удирал.

Дело в том, что он привык всегда иметь при себе оружие: в училище, в Варшаве в сентябре, в Модлине. У врага было оружие, и у него было, вот он и был смелый. А тут враг стреляет, а он стрелять не может — и он стал другим человеком.

Произошло это внезапно: просто он, ничего не объясняя, прекратил что-либо делать. И когда было назначено первое заседание штаба, его звать уже не имело смысла. Поэтому туда пошел я.

У него была девушка, Аня. Она попала в Павяк* — потом, правда, ей удалось оттуда вырваться, но, когда ее забрали, он окончательно сломался. Пришел к нам, уперся руками в стол и стал говорить, что мы все равно обречены, что нас перережут, что мы молоды и должны бежать в лес...

Его выслушали не перебивая.

Когда он ушел, кто-то сказал: «Это потому, что ее забрали. Теперь ему уже незачем жить. Теперь он погибнет». Тогда каждый нуждался, чтобы рядом был человек, вокруг которого вертелась бы его жизнь, ради которого надо было что-то делать. Пассивность означала верную смерть. Делай что-нибудь — тогда у тебя будет шанс выжить. Чем-то занимайся, куда-то ходи...

От этой «деятельности» не было особого толка — и так все погибали, — но ты хотя бы не ждал своей очереди безучастно.

* Варшавская тюрьма для политзаключенных; в период оккупации — следственная и пересыльная тюрьма.

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

Полею моей «деятельности» был Умшлагплац — я должен был, с помощью наших людей из полиции, вызволять тех, кто был нам особенно нужен. Однажды я вытащил парня с девушкой — он работал в типографии, она была отличной связной. Вскоре оба погибли, он во время восстания, но до того успел один раз напечатать листовки, а она — на Умшлагплац, но прежде успела эти листовки разнести.

Какой в этом был смысл, хочешь спросить?

Никакого. Благодаря этому человек не стоял на бочке. Вот и все.

Возле Умшлагплац помещалась амбулатория. В ней работали ученицы школы медсестер, — кстати, это была единственная школа в гетто. Директор, Люба Блюм, следила, чтобы все было так, как должно быть в настоящем, солидном учебном заведении: белоснежные халаты, накрахмаленные шапочки и образцовая дисциплина... Чтобы выцарапать человека с Умшлагплац, следовало доказать немцам, что он действительно болен. Больных на «скорой помощи» отправляли домой: немцы до последней минуты поддерживали в людях уверенность, что в этих вагонах их везут на работу, а работать, как известно, могут только здоровые. Ну вот, и эти девочки из амбулатории, эти медсестры, ломали ноги тем, кого надо было спасти. Клали ногу на деревянную чурку, а другой чуркой ударяли — в своих сверкающих халатиках образцовых учениц...

Погрузки в вагоны ждали в помещении школы. Людей выводили оттуда поочередно, сперва с одного этажа, потом с другого, так что те, кто был на первом этаже, удирали на второй, со второго на третий, но этажей было только четыре, поэтому на четвертом активность и энергия у всех иссякали — дальше идти было некуда. На четвертом этаже был большой физкультурный зал. Там на полу лежало несколько сот человек. Никто не вставал, не ходил, вообще никто не двигался, люди лежали, апатичные и безмолвные.

В зале была ниша. В нише несколько украинцев* — шесть, а может, восемь — насиловали девушку. Стояли в очереди и насиловали, а когда очередь закончилась, девушка вышла из ниши, прошла через весь зал, спотыкаясь о лежащих, белая, голая, окровавленная, и села в углу. Толпа все видела, но никто не сказал ни слова. Никто даже не шевельнулся, и в зале по-прежнему царило молчание.

— Ты это видел или тебе рассказывали?

— Видел. Я стоял в конце зала и все видел.

— Стоял в конце зала?

— Да. Как-то я рассказал эту историю Эльжбете Хентковской. Она спросила: «А ты? Что ты тогда сделал?» — «Ничего не сделал, — ответил я ей. — К тому же, вижу, с тобой обо всем этом вообще бессмысленно говорить. Ты ничего не понимаешь».

* В гетто был задействован батальон СС, состоявший из 337 украинских и латышских националистов.

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

— Зря ты рассердился. Эльжбета прореагировала так, как прореагировал бы всякий нормальный человек.

— Знаю. Кроме того, я знаю, как нормальный человек должен поступить в такой ситуации. Когда насилуют женщину, нормальный человек бросается на ее защиту, верно?

— Если б ты бросился один, тебя бы убили. Но если бы все, кто там были, поднялись с пола, вы бы легко справились с украинцами.

— Никто не шевельнулся. Никто уже не в состоянии был подняться с пола. Люди были способны только ждать погрузки в вагоны. А почему, собственно, мы об этом заговорили?

— Не знаю. Перед тем мы говорили, что нужно было что-то делать.

— Я и делал — возле Умшлагплац. А та девушка жива, представляешь?

Честное слово. У нее муж, двое детей, и она очень счастлива.

— Ты делал свое дело возле Умшлагплац...

— ...и однажды вывел Полю Лифшиц. А назавтра Поля забежала домой, увидела, что матери нет — в это время мать уже гнали в колонне на Умшлагплац, — бросилась за колонной, бежала вдогонку за толпой от Лешно до Ставок — жених еще подвез ее на рикше, чтоб она успела их догнать, — и она успела. В последнюю минуту замешалась в толпу и вместе с матерью пошла в вагон.

О Корчаке знают все, правда? Корчак — герой, потому что добровольно пошел с детьми на смерть.

А Поля Лифшиц — которая пошла со своей матерью? Кто знает о Поле Лифшиц?

А ведь эта самая Поля могла перейти на арийскую сторону, потому что была молода, красива, не похожа на еврейку и у нее было в сто раз больше шансов, чем у других, остаться в живых.

— Ты упоминал о талонах на жизнь. Кто их распределял?

— Было сорок тысяч талонов — такие белые листочки с печатью. Немцы отдали их в Совет общины и сказали: «Распределяйте сами. Кто получит талон, останется в гетто. Все остальные пойдут на Умшлагплац».

Это было за два дня до окончания акции по уничтожению гетто, в сентябре. Главный врач нашей больницы, Анна Брауде-Геллер, получила десятка полтора талонов и сказала: «Я распределять не буду».

Талоны мог раздать кто-нибудь из врачей, но все считали, что она даст их тем, кто больше всего заслуживает.

Послушай: «кто заслуживает». Разве существует такое мерило, согласно которому можно решить, кто имеет право на жизнь? Нет такого мерила. Но к Геллер ходили делегации, упрашивали, чтобы она согласилась, и она начала распределять талоны.

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

Один талончик она дала Фране. А у Франи были еще сестра и мама. На углу улицы Заменгофа выстроили всех, у кого были талоны, а вокруг толпились люди, у которых талонов не было. И среди них стояла Франина мама. И ни за что не хотела отойти от дочки, а Фране уже пора было становиться в шеренгу, и она говорила: «Мама, ну иди же, — и отстраняла ее рукой. — Ну иди же...»

Да, Франия выжила.

Потом она спасла человек пятнадцать, вынесла одного парня, раненного во время варшавского восстания, вообще вела себя потрясающе.

Такой же талон получила старшая медсестра Тененбаум. Она была приятельницей Беренсона, знаменитого адвоката, защитника на брестском процессе*. Ее дочери, Деде, талона не дали. Тененбаум сунула свой талончик дочке, сказала: «Подержи минутку, я сейчас...» — пошла наверх и проглотила тюбик таблеток люминала.

Мы нашли ее назавтра, еще живую.

Ты считаешь, мы должны были ее спасти?

— А что стало с дочкой, у которой теперь был талон?

— Нет, ты мне скажи: мы должны были ее спасти?

— Знаешь, Тося Голиборская говорила мне, что ее мать тоже приняла яд. «А этот кретин, мой шу-

* Политический судебный процесс над руководителем парламентской оппозиции (окт. 1931 — янв. 1932), устроенный санационным правительством Польши.

рин, — рассказывала Тося, — ее спас. Можете себе представить такого кретина? Спасти для того, чтобы через несколько дней ее погнали на Умшлагплац...»

— Когда началась акция по уничтожению гетто и с первого этажа нашей больницы уже выволакивали людей, наверху одна женщина рожала. Возле нее стояли врач и сестра. Как только ребенок появился на свет, врач передал его сестре. Та положила его на подушку, сверху прикрыла другой, ребенок попищал минутку и затих.

Медсестре было девятнадцать лет. Врач ничего ей не говорил, ни слова — она и без слов поняла, что нужно делать.

Хорошо, что ты не спрашиваешь: «А эта девушка жива?» — как спросила про врачиху, которая дала детям цианистый калий.

Да, она жива. Прекрасный педиатр.

— Так что же было с Дедой, дочкой Тененбаум?

— Ничего. Тоже погибла. Но перед тем прожила несколько счастливых месяцев: у них была любовь с одним парнем, рядом с ним она всегда была спокойная, улыбающаяся. По-настоящему счастливые месяцы прожила, правда.

Француз из «Экспресса» спрашивал меня, были ли в гетто любовь. Так вот...

— Прости. Ты тоже получил талон?

— Да. Я стоял в пятнадцатой пятерке, в той же колонне, где Франия и дочка Тененбаум, и вдруг

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

увидел свою девушку и ее брата. Я быстро втащил их в колонну, но так поступали и другие, поэтому в колонне оказалось уже не сорок, а сорок четыре тысячи человек.

Немцы пересчитали нас, последние четыре тысячи отсеки и отослали на Умшлагплац. Но я попал в первые сорок тысяч.

— Значит, француз спросил у тебя...

— ...была ли любовь. Так вот: жить в гетто можно было, только если у тебя кто-то был. Человек забирался куда-нибудь с другим человеком — в постель, в подвал, куда попало — и до следующей акции уже не был один.

У кого-то забрали мать, у кого-то на глазах застрелили отца, увезли в эшелоне сестру, так что, если человеку чудом удавалось убежать и еще какое-то время пожить, он непременно должен был прильнуть к другому живому человеку.

Люди тогда тянулись друг к другу, как никогда прежде, как никогда в нормальной жизни. Во время последней акции пары бежали в Совет общины, отыскивали какого-нибудь раввина или кого угодно, кто бы мог их обвенчать, и отправлялись на Умшлагплац уже супругами.

Тосина племянница пошла со своим парнем на Павью — в доме номер один там жил раввин, он их обвенчал, и прямо оттуда их забрали украинцы, а один приставил ей дуло к животу. Муж отвел дуло и заслонил ее живот своей рукой. Ее, правда, все

равно отправили на Умшлагплац, а он, с оторванной кистью, убежал на арийскую сторону и погиб потом в варшавском восстании.

Вот в чем мы нуждались: чтобы был человек, готовый, если понадобится, заслонить собственной рукою твой живот.

— Когда началась эта акция, и Умшлагплац, и прочее, вы — ты и твои товарищи — сразу поняли, что это означает?

— Да. Двадцать второго июля 1942 года были развешаны плакаты с распоряжением о «переселении населения на восток», и в ту же ночь мы расклеили листовки: *Переселение — это смерть.*

Назавтра на Умшлагплац начали свозить заключенных из тюрьмы и стариков. Продолжалось это целый день — одних заключенных было шесть тысяч. Люди стояли на тротуарах и смотрели — и, знаешь, была абсолютная тишина. Все происходило в такой тишине...

Потом уже не осталось ни заключенных, ни стариков, ни бездомных нищих, а на Умшлагплац надо было каждый день доставлять десять тысяч. Заниматься этим надлежало еврейской полиции под надзором немцев, и немцы говорили: все будет спокойно и никто не станет стрелять, если ежедневно, не позже четырех часов, в вагоны будет погружено десять тысяч человек. (В четыре эшелон должен был быть отправлен.) Полицейские говорили: «Если мы наберем десять тысяч, остальные уце-

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

леют». И сами задерживали людей — вначале на улице, потом окружали дом, потом выволакивали из квартир...

Кое-кому из полицейских мы вынесли смертные приговоры. Начальнику полиции Шеринскому, Лейкину и еще нескольким.

На второй день акции, 23 июля, собрались представители всех политических группировок и впервые заговорили о вооруженном сопротивлении. Все уже были настроены решительно и раздумывали, где бы достать оружие, но спустя несколько часов, то ли в два, то ли в три, кто-то пришел и сказал, что акция приостановлена и никого больше выселять не будут. Не все в это поверили, но атмосфера сразу разрядилась, и до конкретных решений дело не дошло.

Большинство все еще не верило, что это — смерть. «Разве можно, — говорили, — истребить целый народ?» И успокаивались: нужно доставить сколько-то людей на площадь, чтобы спасти остальных...

Вечером в первый день акции покончил с собой глава Совета общины Черняков. Это был единственный дождливый день. А вообще от начала до конца акции стояла солнечная погода. В тот день, когда умер Черняков, закат был красный, и мы думали, это к дождю, но на завтра опять светило солнце.

— Для чего вам нужен был дождь?

— Ни для чего. Я просто рассказываю тебе, как было.

Что касается Чернякова, то мы были к нему в претензии. Мы считали, он не должен был...

— Знаю. Мы уже об этом говорили.

— Разве?

А знаешь, после войны мне кто-то сказал, что у Лейкина — полицейского, которого мы застрелили в гетто, — тогда, на восемнадцатом году супружеской жизни, родился первый ребенок, и он думал, что своим рвением его спасет.

— Хочешь еще что-нибудь рассказать об акции?

— Нет. Акция закончилась.

Я остался жив.

Так совпало, что у пана Рудного, и у пани Бубнер, и у пана Вильчковского, альпиниста, инфаркт случился либо в пятницу, либо в ночь с пятницы на субботу, поэтому суббота для каждого из них оказалась свободным от каких бы то ни было дел днем. В субботу все они лежали неподвижно, под капельницей с ксилокаином, и думали.

Инженер Вильчковский, например, думал о горах, а вернее, о позолоченной солнцем вершине, на которой наконец-то можно отцепить веревку и присесть. Вершина эта была не в каких-нибудь там Альпах, или в Эфиопии, или даже на Гиндукуше — просто вершина в Татрах, Менгушовецкий пик или, может быть, Жабий Мних, на который он

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

как-то, в сентябре, проложил очень красивую дорогу по западному склону.

Рудному (первая пересадка вены из ноги в сердце в острой стадии) виделись, разумеется, машины. Сплошь современные, импортные, английские или швейцарские, и все на ходу: не было такой, у которой бы недоставало частей.

А у пани Бубнер (изменение направления кровотока) перед глазами маячила небольшая литьевая пресс-форма. Пластмассовые детали формовал рабочий, но в кипящую краску потом их бросала уже она сама, так как это была наиболее ответственная часть работы. Затем она собирала всю авторучку (на швейцарские наконечники, которые перепадали ей из посылок, у нее, разумеется, имелись таможенные декларации), маркировала и укладывала в коробку.

Вот о чем думали пациенты доктора Эдельмана, лежа под капельницей с ксилокаином.

Под капельницей обычно думают о самом важном.

Для главного врача Брауде-Геллер самым важным было: кто заслуживает талон на жизнь. А для пана Рудного самое важное — запчасти к машинам. Так что, если бы Геллер дала талон пану Рудному, это был бы талон на машины, поскольку в них — жизнь пана Рудного, так же как жизнь пани Бубнер — шариковые ручки, а пана Вильчковского — вершины в Татрах.

Что же касается пана Жевуского, то он ни о чем не думал.

Если бы Жевуский, подобно Бубнер или Рудному, стал вспоминать о том, что было лучшего в его жизни, он бы подумал о заводе, который ему доверили в двадцать восемь лет, а в сорок три отобрали. Он бы почувствовал запах металла, и услышал, как кто-то входит с чертежом в руке, и понял: что-то сейчас рождается, и это «что-то» можно увидеть, измерить, опробовать, и с нетерпением глядел бы на обрабатываемый металл — ему бы хотелось поскорей прикоснуться к образцу, который он пять минут назад видел на чертеже...

(«Завод, — говорит Жевуский, — был для меня тем, чем для доктора Эдельмана гетто: самым важным в жизни. Возможностью действовать. Настоящим мужским делом».)

Обо всем этом Жевуский думал бы, лежа под капельницей, если б он вообще о чем-нибудь думал. Но, повторяю, он ни о чем не думал — ни тогда, когда Профессор еще сидел, погрузившись в свои мысли, у себя в кабинете, а возле Жевуского уже хлопотал анестезиолог, ни несколько часов спустя, когда Профессор, и Эдельман, и Хентковская с радостью следили за скачущим по экрану монитора лучиком, — ни о чем не думал, так как все время ощущал только одно — боль, и не было для него ничего важнее желания, чтобы боль хотя б на минуту утихла.

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

Это было первое восхождение по центральной части западного склона — наверно, не раньше, чем в начале октября, но уже на склоне было много солнца. Потом они увидели сверху Морское Око, а за спиной — вздыбившийся мир, нагромождения скал и Бабью гору. Англичанин Мэллори, когда его спросили, почему он поднялся на Эверест, ответил: «Because it exists». Потому что он существует. Тот позолоченный пик был далеко, всю субботу (к ксилокаину еще прибавился ультракортен) Вильчковский на него взбирался, прекрасно его видел, но не мог приблизиться даже на миллиметр и начал понимать, что уже никогда в жизни не доберется до этого залитого солнцем места.

И он стал размышлять о том, много ли у него шансов. В горах до сих пор обходилось без несчастных случаев, но этого было недостаточно, чтобы его успокоить, — не известно, кто еще мог оказаться на пути, предначертанном ему судьбой. Существуют ведь злые духи, которые навлекают несчастья на людей гор. Перед экспедицией в Эфиопию, например, их злomu духу (только потом выяснилось, что это был он сам) достался рюкзак с грузом под номером восемь, но он не захотел его брать, рюкзак взял кто-то другой, было их тогда восемь человек, и вышли они восьмого числа, и тот, кто взял восьмой рюкзак, соскользнул с автомобильного тента — как, по сей день непонятно: они все спали на этом брезенте, привязавшись веревками. В экспедиции

Диренфурта на Эверест один индус умер от истощения, и злым духом был последний человек, который его видел; индус, кстати, шел в его куртке. В общем, всю ночь с субботы на воскресенье Вильчковский размышлял о своей судьбе и, хотя рассуждать старался объективно, пришел к выводу, что его линия жизни ни с чем особо опасным не пересекается. Это его сильно подбодрило.

Четыре барабана в английской машине нужно отрегулировать так, чтобы они работали синхронно, тогда не возникнет натяжения и изделие не порвется. Когда у изделия (это тесьма для юбок, или резинка, или бахрома) на барабанах все в порядке с влажностью, и скорость надлежащая, и все барабаны идеально синхронизованы, это прекрасно: человек тогда знает, что он полновластный хозяин машины.

Итак, машины были смазаны, барабаны вращались ритмично, и пан Рудный теперь мог подумать о садовом участке, который нужно вскопать, да и хибарку какую-никакую не мешало бы поставить.

Жена говорила ему, что надо бы построить домик. Летнюю дачку, все теперь такие строят.

Жена говорила, что до сих пор им всегда удавалось получить то, что они хотели. Квартира обставлена супермодной светлой мебелью. Талон на стиральную машину им дали сразу. Каждый год ездили всей семьей в отпуск — и случая не было, чтобы ей не досталось телятины без костей. Так что наверня-

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

ка, если б они немножко подсустились, и домиком бы обзавелись, — так говорила жена, которая до последней минуты, пока не увидела его издали через приоткрытую дверь реанимационного блока, считала, будто они имеют все, что есть в жизни действительно ценного.

Авторучки принимали только в системе книготорговли. Ни газетные киоски, ни «Канцтовары» не имели права брать товар у производителей, поэтому те полностью зависели от книжных магазинов. Директор книжного магазина мог взять сразу и тысячу, и две тысячи штук, ну и пани Бубнер приходилось делать все, чтобы товар не залеживался.

Инфаркт ее хватил сразу по возвращении с судебного разбирательства (Бубнер осудили на год с заменой тремя годами условного заключения), во время которого, кстати, выяснилось, что ставки были установлены твердые: все производители авторучек давали директорам ровно по шесть процентов с каждой партии товара.

В зале суда оказалось, что не только тех, кто давал, подводит сердце. Те, через которых передавались взятки, чувствовали себя еще хуже, один из посредников то и дело клал под язык таблетку, и тогда судья (это была женщина) объявляла на минуту перерыв. «Подождем чуть-чуть, пока нитроглицерин рассосется, вы только не волнуйтесь», — говорила она.

В самом же тяжелом состоянии были люди, которые брали взятки. Один уже перенес инфаркт, судебный врач разрешил ему давать показания не больше часа подряд, так что судье приходилось все время поглядывать на часы. Надо сказать, что она действительно очень по-доброму, с пониманием относилась ко всем сердечникам — и к ремесленникам, и к посредникам, и к директорам магазинов.

Что же касается пани Бубнер, то она тогда еще в медицинской помощи не нуждалась. Инфаркт у нее случился уже после суда, дома. Она даже успела приподняться на носилках и попросить соседа, чтобы тот усыпил таксу, сделал ей самый лучший укол, какой только можно достать.

— Доктор Эдельман потом подошел ко мне и говорит: «Только операция, пани Бубнер». А я заплакала и говорю: «Нет». А он говорит: «Соглашайтесь, пани Бубнер. Так надо». (У пани Бубнер как раз и был тот случай инфаркта передней стенки сердца с блокадой правой ножки желудочкового пучка, при котором люди становятся все тише и все спокойнее, потому что все в них постепенно, мало-помалу, умирает. Пани Бубнер была той самой четырнадцатой пациенткой. Профессор уже не спрашивал: «Чего вы, собственно, от меня хотите?» — он сказал: «Хорошо. Попробуем».)

Итак, Эдельман сказал: «Соглашайтесь, так надо...»

— ...и тут я подумала: ведь мой покойный муж был очень хороший, очень верующий человек. Он говорил: «Никуда не денешься, Маня, Бог есть», — и в еврейской общине много чего делал, и после собраний в артели никогда не ходил со всеми в «Малиновую», шел прямо домой, а если мне иной раз хотелось выпить рюмочку с друзьями, говорил: «Конечно, иди, Манюся, дай только мне твою сумочку, чтоб не потеряла». И уж если такой человек попросит о чем-нибудь своего Бога, то Бог, конечно, ему не откажет. Я даже пока сидела месяц под следствием и то была спокойна: знала, что рано или поздно двери передо мной откроются. Не может быть, чтобы мой муж не сумел такого для меня устроить. И что вы думаете? Не устроил? Приехал бухгалтер из артели, внес залог, и меня до суда освободили условно.

И сейчас я тоже сказала: «Не беспокойтесь, доктор, увидите, уж он там все устроит как надо».

(Вскоре после того, как это было сказано, Профессор перевязал большую вену сердца пани Бубнер, чтобы прекратить отток и направить артериальную кровь в вены, и, к всеобщей радости, оказалось, что кровь нашла выход из сердца...)

Перед закупкой новых, импортных, машин пана Рудного послали в Англию на практику. Тогда-то он и заметил, что английская контролерша бракует гораздо меньше изделий, чем у них на фабрике, и что там ни разу не случилось, чтобы маши-

на простаивала из-за отсутствия запчастей. Потом, дома, он мечтал, что машины у них будут работать, как в Англии. Увы! — можно было разбиться в лепешку и не добыть нужных деталей, процент брака по-прежнему оставался очень высоким, и ко всему прочему Рудный не мог найти общий язык с молодыми самоуверенными рабочими.

Когда же пан Рудный вернулся из больницы после операции (это была та самая операция в острой стадии, когда речь шла о том, кто будет первым: инфаркт или врачи — врачи или Господь Бог; та самая операция, перед которой Профессор попробовал уйти из клиники и не возвращаться, но вернулся, еще в тот же день, под вечер. А если уж быть точным, то Эдельман тоже ушел, хотя именно он настаивал на операции. Эдельман сказал: «Пойду подумаю», — поскольку тоже читал книги, в которых пишут, что такие операции нельзя делать, — и вернулся спустя несколько часов. И тут Эльжбета Хентковская закричала: «Куда вы все подевались? Не понимаете, что дорога каждая минута?!») — ну так вот, когда Рудный вернулся после операции к себе на фабрику, его с ходу перевели в более спокойный цех. В новой своей должности он занимался смазками. Ну что это за работа! Осмотреть машину, составить протокол — вот и все. Рудный прекрасно понимал, что участок ответственный: если машину хорошенько смазывать, она много лет не выйдет из строя, но чтобы видеть результат своей

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

работы сейчас, немедленно — об этом не приходилось и мечтать.

У всех троих — пани Бубнер, инженера Вильчковского и пана Рудного — в ту субботу было много времени для размышлений. И они подумали: хватит, больше им инфаркт получать неохота!

Можно решить, что инфарктов больше не будет. Так же как, выбирая образ жизни, можно заведомо согласиться на инфаркт.

Вернувшись домой, пани Бубнер ликвидировала мастерскую. Документацию полагается хранить пять лет, и у нее еще лежат авторучки, по штуке каждого образца. Время от времени можно их достать, почистить, оглядеть — блестящие, все до одной четырехцветные, маркированные и внесенные в накладные. Потом пани Бубнер складывает их обратно в коробку, прячет на место и медленным шагом идет гулять.

А пан Рудный, которого перевели обратно в его цех, потому что прибыли машины из Швейцарии, сказал себе: «Только не волноваться. Даже если обнаружится отсутствие какой-нибудь детали, вовсе не обязательно из кожи лезть вон, чтоб добыть новую. Если не будет хватать запчастей, мое дело — подать официальную заявку, и дальше можно жить спокойно». И действительно. Он подает письменную заявку и живет спокойно.

А если иногда нарушает данное себе обещание, то ненадолго. Достаточно почувствовать боль за

грудиной, пойти к врачу и услышать: «Пан Рудный, нужно радоваться жизни, а не волноваться из-за машин», — и он снова начинает писать заявки.

В больницу он приходит не как пациент, а просто в гости, пятого июня — в годовщину своей операции, и приносит три букета. Один вручает Профессору, другой — доктору Эдельману, а третий — для доктора Эльжбеты Хентковской — кладет на ее могилу на кладбище.

У Лейкина — полицейского, которого вы застрелили в гетто, — на восемнадцатом году супружеской жизни родился первый ребенок... Он думал, что своим рвением его спасет... Акция закончилась, ты остался жив...

А недавно тебе нанесла визит одна дама, дочь заместителя коменданта Умшлагплаца. Его вы тоже застрелили.

Она приехала издалека.

«Зачем?» — спросил ты у нее.

Она сказала, что хочет узнать, как было с ее отцом, и ты объяснил: он не захотел дать нам денег, был вынесен приговор, мне очень жаль...

«Сколько? — спросила она. — Сколько он не захотел вам дать?»

Ты не помнил. «Двадцать тысяч или десять, кажется, десять... Мы собирали деньги на оружие», — объяснил ты ей.

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

Она сказала, что отец не захотел дать вам деньги, потому что они нужны были для нее. Ее прятали на арийской стороне, это стоило денег.

Ты внимательно к ней присмотрелся. «У вас голубые глаза... Ну сколько за такого голубоглазого ребенка он мог платить? Две, две с половиной в месяц — что это было для вашего отца?»

«А за револьвер?» — спросила она.

«Кажется, пять. Тогда еще пять».

«Значит, речь шла о двух револьверах. Или о четырех месяцах моей жизни», — с горечью сказала она.

Ты заверил ее, что вы таких подсчетов не производили и что тебе правда очень жаль.

Она спросила, были ли вы знакомы. Ты сказал, что видел ее отца каждый день на Умшлагплаце, когда тот приходил на работу. Ничего плохого он на этой площади не делал — считал людей, которых загоняли в вагоны. Ежедневно отправляли десять тысяч человек, кто-то должен был их пересчитать, и он стоял и считал. Как всякий добросовестный чиновник: приходил на работу, начинал считать, насчитав десять тысяч, работу заканчивал и шел домой.

Она спросила: в этом точно не было ничего плохого?

«Нет, конечно, — сказал ты. — Он же никого не бил, не пинал, не издевался. Говорил: “Один — два — три — сто — сто один — тысяча — две тысячи —

три тысячи — четыре тысячи — девять тысяч один...» Сколько нужно времени, чтобы сосчитать до десяти тысяч? Десять тысяч секунд, неполных три часа. А поскольку это были люди и надо было их разделить, построить и т.д., времени уходило больше. Ровно в шестнадцать эшелон отправлялся, а он заканчивал работу. Но все это не имеет значения, — повторил ты, — поскольку приговорили его не за это. Ему назначили срок: принести деньги до шести вечера. Когда он вернулся с работы, двое ребят красили двери поблизости, чтобы можно было наблюдать за квартирой. Вернулся он пунктуально, как всегда, они подождали два часа, потом постучались, он им открыл...»

Она спросила: «Как вы думаете, ему было очень страшно? Сколько все это продолжалось?»

Ты угостил ее сигаретой и заверил, что он не успел испугаться. Это была быстрая, легкая смерть, куда легче, чем у стольких других людей.

«Почему он открыл им дверь? — спросила она. — Почему вернулся? Мог ведь не прийти, спрятаться. Зачем он вообще вернулся после работы домой?»

«Потому что ему в голову не пришло, что его предостерегли всерьез, — объяснил ты ей. — Что эти евреи, которых он пересчитывает, которые так спокойно, без слова протеста, позволяют себя пересчитывать, могут решиться на такое».

«Он бы все равно погиб, — сказала она. — Почему вы не позволили ему погибнуть достойно,

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

по-человечески, не так бессмысленно?.. И вообще, какое вы имели право выбирать для него смерть?»

На лице у нее выступили красные пятна, руки дрожали; ты старался говорить спокойно. «Мы не для вашего отца выбрали смерть. Мы выбрали смерть для себя и для тех шестидесяти тысяч евреев, которые еще были живы. Смерть вашего отца была всего лишь следствием этого выбора. Печальным следствием, мне правда очень жаль...»

И еще добавил: «Вы ошибаетесь: смерть вашего отца не была бессмысленной. Наоборот. После этого приговора больше ни разу не случилось, чтобы кто-то отказался дать нам деньги на оружие».

Итак...

Акция закончилась, ты остался жив...

— В гетто осталось шестьдесят тысяч евреев. Эти теперь уже понимали, что означает «депортация» и что ждать больше нельзя. Мы решили создать единую для всего гетто военную организацию, что, кстати, было непросто, так как никто друг другу не доверял: мы не доверяли сионистам, сионисты — нам, но теперь это уже не имело значения. Мы создали единую боевую организацию, ЖОБ.

Нас было пятьсот человек. Но в январе немцы снова провели акцию, и из пятисот осталось восемьдесят. В той январской акции люди впервые отказывались идти на смерть добровольно. Мы застрелили несколько немцев на Мурановской,

Францисканской, Милой и Заменгофа, это были первые выстрелы в гетто, и они произвели сильное впечатление на арийской стороне: дело было еще до крупных вооруженных акций польского Сопротивления. Владислав Шленгель, поэт, который в гетто писал стихи и страдал комплексом «покорной смерти», успел еще написать об этих выстрелах стихотворение. Называлось оно «Контратака»:

...Слышишь, немецкий Бог,
как молятся в жутких домах евреи,
сжимая в руке кто дубинку, кто жердь.
Пошли нам, Господь, кровавую битву
и в битве кровавой мгновенную смерть.
Пусть наши глаза на краю могилы
не видят, как рельсы бегут в никуда,
но нашим ладоням дай, Господи, силы.

[...]

Словно алые, точно кровь, маки,
на Муранове, Низкой, Милой
рдеют цветы нашей контратаки
в дулах бьющих без промаха ружей,
а в закоулках Островской и Дикой —
на тропках наших лесов партизанских —
хмель этой битвы нам головы кружит...

Точности ради скажу тебе, что «дул», в которых рдели «цветы нашей контратаки», было тогда в

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

гетто десять. Мы получили пистолеты от Гвардии Людовой*.

Группа Анелевича, которую вели на Умшлагплац и у которой оружия не было, бросилась на немцев с голыми руками. Группа Пельца, восемнадцатилетнего паренька, печатника, которую привели на площадь, отказалась садиться в вагоны, и ван Эппен, комендант Треблинки, расстрелял их всех — шестьдесят человек — на месте. Радиостанция имени Костюшко, помню, тогда призывала народ к борьбе. Какая-то женщина кричала: «К оружию! К оружию!» — на фоне звуковых эффектов, похожих на щелканье затворами. Мы гадали, чем они там щелкают, — у нас к тому времени на всех было шестьдесят пистолетов.

— А знаешь, кто это кричал? Рыся Ханин.

На радиостанции в Куйбышеве Рышарда Ханин** тогда читала сводки, стихи и призывы. Не исключено, что именно она призывала вас к оружию... Но настоящими затворами они там не щелкали. Рышарда говорит, что по радио ничто не звучит так фальшиво, как подлинные звуки...

* Военная организация, в 1942—1943 гг. действовавшая в оккупированной Польше под руководством Польской рабочей партии (ППР); 1 января 1944 г. реорганизована в Армию Людову (АЛ).

** В 1943 г. в Куйбышеве формировалась польская армия из заключенных, освобожденных из советских лагерей, и ссыльных. Рышарда Ханин (1919–1994) — польская драматическая актриса и педагог.

— Как-то Анелевич захотел добыть еще один револьвер. Он убил на Милой веркшуща*, а во второй половине того же дня приехали немцы и в отместку забрали всех с улицы Заменгофа — от Милой до Мурановской площади, несколько сот человек. Мы были ужасно злы на него. Хотели даже... Впрочем, это не важно.

В том доме, с которого немцы начали, на углу Милой и Заменгофа, жил мой товарищ, Хеннох Рус. (Это ему, кстати, обязана своим созданием единая боевая организация в гетто: обсуждение затянулось на много часов и голосовали несколько раз, но все без толку, потому что каждый раз оказывалось столько же голосов «за», сколько и «против». В конце концов именно Хеннох изменил свою точку зрения, поднял руку, и было принято решение создать ЖОБ.)

У Хенноха Руса был сынишка. В начале войны малыш заболел, потребовалось переливание крови, я дал ему свою кровь, но сразу после переливания ребенок умер. По всей вероятности, шок от чужеродной крови, такое иногда бывает. Хеннох смолчал, но с тех пор стал меня избегать: как-никак моя кровь убила его ребенка. И только когда началась акция, сказал: «Благодаря тебе мой сын умер дома, как человек. Спасибо тебе за это».

* Охранник (от нем. Werkschutz — охрана промышленных предприятий).

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

Мы собирали оружие.

Тайком переправляли его с арийской стороны (силой забирали деньги у разных организаций и частных лиц), а также выпускали листовки — наши девушки-связные развозили их по Польше...

— Сколько вы платили за револьвер?

— От трех до пятнадцати тысяч. Чем ближе к апрелю, тем дороже: спрос на рынке возрастал.

— А сколько платили за то, чтобы спрятать еврея на арийской стороне?

— Две, пять тысяч. По-разному. В зависимости от того, похож ли был человек на еврея, с акцентом говорил или без, мужчина это был или женщина.

— Значит, за один револьвер можно было целый месяц прятать одного человека. Или двоих. Или даже троих.

— За один револьвер также можно было выкупить у шмальцовника* одного еврея.

— Если бы вам тогда предложили выбирать: один револьвер или месяц жизни одного человека...

— Нам ничего такого не предлагали. Может, даже и хорошо, что выбрать не приходилось.

— Ваши связные развозили листовки по Польше...

— Одна девушка ездила с ними в Пётрков, в гетто. В Совете общины Пётрковского гетто были

* Шмальцовниками во время немецкой оккупации называли людей, которые вымогали у скрывающихся евреев и помогающих им поляков деньги, угрожая донести на них оккупационным властям.

наши люди, и там царил образцовый порядок: никакого жульничества, еда и работа распределялись по справедливости. Но мы тогда были молоды и бескомпромиссны и считали, что нельзя работать в юденрате, что это коллаборационизм. В общем, приказали нашим оттуда бежать, и тогда в Варшаву приехали несколько человек, которых нужно было спрятать, потому что немцы этих пётрковских деятелей разыскивали. Мне поручили семью Келлерман. За два дня до окончания акции, когда нас выводили с Умшлагплац за талонами, я увидел Келлермана. Он стоял за входной дверью в больницу — когда-то дверь была застеклена, но стекла были выбиты, а дыры заделаны досками: в щели между досками я и увидел его лицо. Я знаком показал ему, что вижу и что приду за ним, — и нас увели. Через несколько часов я вернулся, но за дверью никого не было.

Знаешь, я видел столько людей, идущих на площадь, и до того, и после, но только перед Келлерманом с женой мне хотелось бы оправдаться. Я за них отвечал и сказал, что приду, и они до последней минуты меня ждали, — а я пришел слишком поздно.

— Что было со связной, которая ездила в Пётрковское гетто?

— Ничего. Как-то на обратном пути ее схватили украинцы и хотели застрелить, но наши люди успели сунуть им деньги; ее поставили на краю

могилы, выстрелили холостыми, она для вида упала, а потом продолжала возить в Пётрков эти листовки.

Листовки мы размножали на стеклографе. Стеклограф у нас был на Вальной, и однажды понадобилось его оттуда перенести — идем, а нам навстречу еврейские полицейские. Мы с грузом, а они нас окружают и собираются вести на Умшлагплац. Старшим у них был один адвокат, который до этого дня вел себя безупречно, никого не бил и не замечал, когда люди убегали. Мы вырвались, я потом говорю ребятам: «Ну надо же, какая свинья», а они стали мне объяснять, что он, видно, сломался, решил: все, конец — и нам, и ему. То же самое говорил его товарищ, когда мы ехали в ФРГ давать свидетельские показания. После войны я этому адвокату слова не сказал, а его товарищ мне говорит: «Зачем помнить о том, что было?»

В самом деле. Зачем помнить?

Через несколько дней после того, как был застрелен веркшущ и немцы устроили резню, в апреле, мы шли по улице, Антек, Анелевич и я, и вдруг на Мурановской площади видим людей. День был теплый, солнечный, и люди вышли из подвалов на солнышко. «Господи, — сказал я. — Как они решились выйти? Зачем тут ходят?!» На что Антек: «Как же он их ненавидит, ему бы хотелось, чтоб они сидели в темноте...» — это он про меня. А я просто уже привык к тому, что люди должны выхо-

дить только по ночам. Когда выходят днем, когда их видно, это означает, что долго им не жить.

Антек, помню, первый сказал тогда, на заседании штаба, что немцы подожгут гетто. Мы еще раздумывали, что делать, как погибнуть — броситься на стену, позволить расстрелять себя возле Цитадели или поджечь гетто и сгореть вместе с ним, и Антек сказал: «А если они сами нас подожгут?» Мы сказали: «Не говори ерунды, не будут они жечь город». А они на второй день восстания взяли и подожгли. Мы сидели в укрытии, и кто-то вбежал с отчаянным криком: «Горим!» Поднялась паника. «Конец — с нами покончено», — именно тогда мне пришлось залепить тому парню пощечину, чтобы успокоился.

Мы вышли во двор, нас подожгли со всех сторон, но центральное гетто, к счастью, еще не горело, горел только наш участок, фабрика щеток. Я сказал, что надо пробиваться сквозь огонь. Аня, подруга Адама, та самая, которая вырвалась из Павяка, сказала, что никуда не пойдет, что не бросит мать, — ну, мы ее оставили и бегом дворами. Добрались до стены на Францисканской, в стене был пролом, но его освещал прожектор. Люди снова в истерику — дальше, мол, не пойдут, на свету нас всех перестреляют. Я крикнул: «Не хотите — оставайтесь», — и они остались, человек, наверно, шесть, а Зигмунт выстрелил в прожектор из единственной винтовки, какая у нас была, и нам удалось быстро проскочить.

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

(Это был тот самый Зигмунт, который сказал, что я выживу, а он нет и чтобы я отыскал его дочку в монастыре.)

Ну как, нравится тебе номер с прожектором? Я понимаю, это получше, чем смерть в подвале. Достойнее прыгать через стену, чем задыхаться в темноте, верно?

— Да уж.

— Могу тебе рассказать еще одну историю в том же духе. Перед восстанием, когда началась акция в малом гетто, кто-то мне сказал, что взяли Абрашу Блюма. Абраша был необыкновенного ума человек, еще довоенный наш вожак, и я пошел поглядеть, что с ним.

Я увидел людей, выстроенных четверками вдоль Теплой, а по обеим сторонам, через каждые пять—десять рядов, стояли украинцы. И в начале и в конце улицы — кордоны. Чтобы отыскать Блюма, надо было пробраться вглубь, но сзади, за спиной украинцев, проходить было рискованно, и там, где стояла толпа, тоже — так и меня могли б прихватить. И я пошел между украинцами и толпой, у всех на виду. Шел быстрым энергичным шагом, будто имел право так идти. И знаешь что? Никто меня даже не зацепил.

— У меня создается впечатление, что тебе самому очень нравятся такие истории: как вы быстро, энергично шагали, как стреляли в прожектор. Ты их предпочитаешь рассказам про подвалы.

— Нет.

— А я думаю — да.

— Я тебе это рассказал совсем по другой причине. Когда я вечером вернулся домой, на лестнице стояла Стася (у нее были длинные толстые косы) и плакала. «Чего ты плачешь?» — спросил я ее. «Я думала, тебя забрали».

Вот так, только и всего.

Все были заняты какими-то своими, важными, делами, а Стася целый день ждала, пока я вернусь.

— Мы потеряли нить на прожекторе. Хотя, честно говоря, я не уверена, что у нас вообще есть какая-то нить.

— Это нехорошо?

— Почему? Хорошо. Мы же не историю пишем. Мы пишем о памяти. Но вернемся все-таки к прожектору. Зигмунт его погасил — вы быстро проскочили... погоди, а что с дочкой Зигмунта, которая была в Замостье в монастыре?

— С Эльжуней? Я отыскал ее сразу после войны.

— И где она?

— Нет ее. Уехала в Штаты. Какие-то богатые американцы ее удочерили; они ее очень любили. Эльжуня была красивая и умная. А потом она покончила с собой.

— Почему?

— Не знаю. Когда я был в Америке, я пошел к этим приемным родителям. Они показали мне Эльжунину комнату. После ее смерти там все осталось,

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

как было. Но я так и не знаю, почему она это сделала.

— Все истории о людях, которые ты рассказываешь, — почти все — заканчиваются смертью.

— Да? Потому что это *те* истории. А эти, которые я тебе рассказываю про своих пациентов, заканчиваются жизнью.

— Зигмунт, отец Эльжуни, выстрелил в прожектор...

— ...мы перескочили через стену и побежали в центральное гетто, на Францисканскую. Там, во дворе, стоят Блюм (который в той акции все же уцелел) и Гепнер. Тот самый, у которого я стянул из чемодана красный джемпер. Очень красивый джемпер, из настоящей пушистой шерсти...

— Знаю. Тося недавно прислала тебе из Австралии точно такой. А про Гепнера я читала стихотворение: «Песнь об Аврааме Гепнере, торговце железом». Там, кстати, говорится, что друзья с арийской стороны упрашивали его уйти из гетто, но он отказался и оставался там до конца. Ты заметил, как часто в рассказах о гетто повторяется этот мотив: возможность уйти и решение остаться? Корчак, Гепнер, вы... Быть может, потому, что выбор между жизнью и смертью — последний шанс сохранить достоинство...

— Блюм рассказал нам (в том дворе на Францисканской), что группа АК устроила налет на стену на Бонифратерской, но из этого ничего не вышло,

и что Анелевич сломался, что оружия нет и нам уже не на что рассчитывать... Я говорю: «Ну ладно, ладно, только не будем так стоять». А они спрашивают: «А куда идти?» Нас человек тридцать пять, и Гепнер, и Блюм, и все остальные ждут каких-то приказов, а я сам понятия не имею, куда идти.

Пока что мы спустились в подвалы, а вечером Адам решил вернуться за Аней. Попросил дать ему несколько человек, я спросил, кто хочет пойти, вызвались двое или трое, пошли и потом рассказали, что убежище, где были Аня с матерью, засыпало, и шестеро ребят, которые не захотели с нами идти и остались около прожектора, тоже погибли.

— Может, ты хочешь спросить, испытываю ли я угрызения совести оттого, что разрешил им остаться?

— Не хочу.

— Не испытываю, нет. Но мне до сих пор очень горько.

А на следующий день я встретил всех — Анелевича, Целину, Юрека Вильнера, и мы пошли к ним в убежище, те две девушки, проститутки, приготовили нам поесть, а Гута угощала сигаретами. Это был спокойный, хороший день.

— Как ты считаешь, про такое можно рассказывать людям?

— Не понимаю, что ты имеешь в виду.

— Например, про ребят, которых я оставил во дворе.

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

Должен ли врач рассказывать людям такие вещи? Ведь в медицине на счету каждая жизнь — каждый малейший шанс спасения жизни.

— А нельзя ли нам поговорить, например, о прожекторе, о том, как вы перескочили стену, — о чем-нибудь в этом роде?

— Да ведь там было все вперемешку.

Кто-то куда-то бежит, потом кто-то погибает, другие бегут дальше, потом Адам высунул из подвала голову, а по стене сверху катилась граната, я крикнул: «Адам, граната», — и эта граната взорвалась у него на голове. Потом я выскочил из подвала, во дворе стояли немцы, но у меня были два пистолета — помнишь, те самые, на перекрещивающихся ремнях, я выстрелил...

— И попал из обоих?

— Какое там, ни из одного, но успел добежать до дома, немцы за мной, я бегом на крышу — это неплохая история?

— Великолепная.

— Ты считаешь, эффективнее бегать по крышам, чем сидеть в подвале?

— Я предпочитаю, чтобы ты бегал по крышам.

— А я тогда не чувствовал разницы. Почувствовал позднее, во время варшавского восстания, когда все происходило днем, при солнечном свете, в не огороженном стенами пространстве. Мы могли наступать, отступать, перебегать с места на место. Немцы стреляли, но и я стрелял, у меня была соб-

ственная винтовка, на рукаве бело-красная повязка, вокруг были другие люди с бело-красными повязками — много людей, — слушай, до чего ж это была прекрасная, комфортабельная борьба!

— Вернемся на крышу?

— Я пробежал по ней до соседнего дома. Все в том же красном джемпере, а красный джемпер на крыше — отличная мишень; к счастью, когда стреляешь против солнца, попасть в цель трудно. В соседнем доме, на шестом этаже, лежал на большом мешке с сухарями парнишка.

Я остановился возле него — он дал мне сухарь, потом еще один и всё, больше давать не захотел. Дело было в полдень, а часов в шесть он умер, и в моем распоряжении оказался целый мешок сухарей. Но к сожалению, с мешком особенно не попрыгаешь, а мне нужно было вниз. Когда я спустился во двор, там лежало пятеро наших ребят, убитые. Одного из них звали Сташек. Утром в тот день он попросил у меня какой-нибудь адрес на той стороне, а я сказал: «Еще не время, еще рано», потому что адресов на той стороне у меня не было. А он говорил: «Да ведь конец уже, дай адрес, прошу». А у меня не было адреса. Сразу после этого он выскочил во двор, и вот теперь я его нашел.

Надо было этих ребят похоронить.

Мы вырыли могилу (во дворе дома номер 30 по Францисканской). Страшная работа — рыть могилу для пятерых. Похоронили мы их, а поскольку

было первое мая, тихонько пропели над могилой первый куплет «Интернационала». Можешь в такое поверить? Стал бы нормальный человек петь во дворе на Францисканской?

Потом мы где-то раздобыли сахар и пили подслащенную воду. У меня в группе несколько ребят взбунтовались, они считали, я их затираю и даю мало оружия, и в знак протеста объявили голодовку: отказались пить воду.

Знаешь, что было самое скверное?

Что все больше людей ждало моих приказов.

— Как же закончилась голодовка? (Голодовка в гетто, о Боже!)

— Нормально. Их заставили выпить воды. Ты не знаешь, как заставляют человека во время войны?

Ну так вот, все больше людей, которые были старше меня и опытнее, спрашивали, что им делать, а я сам не знал и чувствовал себя ужасно одиноким.

Целый день, лежа рядом с умирающим паренком на сухарях, я только об этом и мог думать.

Шестого мая к нам пришли Анелевич с Мирой. Вроде бы на совещание, но говорить, собственно, было уже не о чем, и он лег спать, я тоже заснул, а назавтра предложил: «Оставайтесь, чего вам возвращаться», но он не захотел. Мы их проводили, а на следующий день, восьмого, пошли к ним в бункер, на Милую, 18. Уже была ночь, мы зовем — никто не откликается, наконец какой-то парень сказал: «Нету

их. Покончили самоубийством». Остались несколько человек и те две девушки, проститутки. Мы их забрали, и, как только вернулись к себе, оказалось, что с арийской стороны уже пришел по каналам Казик с проводниками и мы будем выходить. (Девушки спросили, можно ли им с нами. Я сказал: «Нет».) Проводников нам прислал Юзвяк — «Витольд» из АЛ; они привели нас к выходу на Простой, мы ждали там ночь, день и еще одну ночь, и десятого мая в десять утра открылся люк, наверху уже была машина, и наши люди, и Кшачек от «Витольда» — вокруг стояла толпа, на нас смотрели с ужасом, мы были черные, грязные, с оружием, — все молчали, и в этой тишине мы выходили на такой ослепительный, майский свет.

Анджей Вайда задумал фильм о гетто. Он говорит, что использовал бы архивные фотографии, а рассказывать обо всем будет сам Эдельман.

Он бы рассказывал перед камерой в тех местах, где это происходило.

Например, перед бункером на Милой, 18 (сегодня там лежал снег и мальчишки съезжали сверху на санках).

Или у входа на Умшлагплац, возле ворот.

Ворот, правда, уже нет, старую каменную ограду снесли, когда строили жилой микрорайон. Теперь там выросли высокие серые корпуса — строго вдоль железнодорожной платформы. В одном из

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

них живет моя приятельница, журналистка Анна Стронская. Я говорю ей, что у нее под окнами, со стороны кухни, стояли последние вагоны поезда — паровоз был там, где тополя. Стронская, у которой большое сердце, бледнеет.

— Слушай, — говорит она, — ведь я всегда к ним хорошо относилась, они мне не причинят зла, как ты думаешь?

— Конечно нет, — отвечаю я, — они еще будут тебя охранять, увидишь.

Итак, при строительстве микрорайона старую ограду снесли, но на ее месте тут же поставили новую, из целехонького белого кирпича. Прикрепили мемориальные доски и светильники, повесили зеленые ящички для цветов, посеяли кругом траву, и теперь там полный порядок, все аккуратное и новое, на Задушки и Йом Кипур* горят лампы.

Или он бы рассказывал около памятника.

Девятнадцатого апреля, в годовщину, сюда бы, как обычно, подъехали автобусы с зарубежными гостями и из них вылезли бы дамы в весенних костюмах и мужчины с фотоаппаратами. На скверике сидели бы на скамейках старушки с колясками, разглядывая автобусы и делегации от предприятий, готовые к возложению венков. «У нас в подва-

* Задушки — у славян-католиков День поминовения всех усопших (2 ноября); Йом Кипур (*ивр.* День искупления) — Судный день.

ле, — сказала бы какая-нибудь старушка, — сидела одна под углем, еду ей подавали с улицы через окошко». (Кстати, вполне бы могло случиться, что та, которая сидела под углем, выходила бы теперь в весеннем костюме из дверей экскурсионного автобуса.) Потом под барабанную дробь делегации с венками направились бы к памятнику, а следом за делегациями туда стали бы подходить отдельные люди с маленькими букетиками, а то и одним-единственным нарциссом в руке, в самом же конце, после цветов и барабанов, из толпы неожиданно вышел бы седобородый старик и начал читать кадиш*. Встал бы у подножия памятника, под горящими лампадами, и дрожащим голосом затянул молитву — плач по мертвым. По шести миллионам мертвых. Такой одинокий старый человек с бородой, в длинном черном пальто.

Толпа бы перемешалась. «Марек, — кричал бы кто-нибудь, — привет!» — «Марыся, ты все такая же молодая», — ответил бы он радостно, потому что это была бы Марыся Савицкая, которая перед войной бегала на восемьсот метров за «Искру» вместе с сестрой Михала Клепфиша, а потом прятала у себя эту сестру-спортсменку, и жену Михала, и дочку...

Дочка и жена выжили, а Михал остался на Бонифратерской, на том чердаке, где он заслонил

* Еврейская поминальная молитва.

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

собою пулемет, чтобы другие могли пройти, а на еврейском кладбище есть символическая могила с надписью:

инж. Михал Клепфиш
17.IV.1913 — 20.IV.1943

И это было бы очередное место для съемок фильма.

Рядом — могила Юрека Блонеса, его двадцатилетней сестры Гуты и их двенадцатилетнего брата Люсика, и еще Файгеле Гольдштайн (какая она была? он даже ее лица не помнит), и Зигмунта Фридриха, отца Эльжуни, который сказал ему в первый день: «Ты останешься жив, так что помни — в Замостье, в монастыре...»

Это уже не символическая могила.

Выйдя из каналов, они поехали в Зелёнку, где было подготовлено убежище, но десять минут спустя явились немцы. Похоронили их в Зелёнке, под забором, так что после войны нетрудно было отыскать тела.

Тех, что лежат в полусотне метров от этой могилы в глубине аллеи, привезли после войны с Буга. Выйдя из каналов, они решили идти на восток, переправиться через Буг и присоединиться к партизанам, но, когда были посередине реки, по ним открыли огонь. (Из каналов они вышли на Простой. Люк внезапно открылся, и Кшачек

крикнул сверху: «Выходи!» — но восьми человек не досчитались. Эдельман приказал им перейти в более широкий канал, потому что, сидя под наглухо закрытой крышкой люка ночь, день и еще одну ночь, они задыхались и начали умирать от воды с фекалиями и от метана. Теперь Эдельман велел их позвать, но никто не сдвинулся с места — никто не захотел отойти от люка, потому что крышка уже была открыта, уже были воздух и свет и слышны голоса людей, которые их ждали. Тогда Эдельман приказал Шлямеку Шустеру сбежать за теми восьмерыми, и Шлямек побежал. Наверху всем распоряжались Кшачек и Казик, они твердили, что надо ехать, что будет еще одна машина, и, хотя Целина выхватила револьвер и кричала: «Не подождете, буду стрелять», грузовик тронулся. Выход через каналы организовал Казик. Ему тогда было девятнадцать лет, и то, что он сделал, было поистине чудом, но теперь Казик время от времени звонит из города, находящегося в трех тысячах километров отсюда, и говорит, что это он во всем виноват, так как не заставил Кшачека подождать. На что Эдельман отвечает: ничего подобного, Казик вел себя безусловно, винить надо только его, ведь это он приказал тем восьмерым отойти от люка. В свою очередь Казик — все из того же, расположенного в трех тысячах километров от Варшавы, города — говорит: «Брось, виноваты немцы. — И добавляет: — В чем дело, почему до сих пор никто ни разу не спросил у меня про тех,

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

что остались живы? Всегда спрашивают только о погибших». Люк, который находится на Простой, в микрорайоне «За железными воротами», тоже, разумеется, подошел бы для съемок.)

В самом конце аллеи, где за последними могилами начинается что-то вроде поля — ровного, поросшего высокой травой и тянущегося до ограды Повонзок*, — нет никаких мемориальных досок. Здесь хоронили тех, что умирали еще до ликвидации гетто — от голода, от тифа, от истощения прямо на улице, в пустых квартирах. Каждое утро служащие погребального общества «Вечность» выходили с ручными тележками, подбирали с улиц трупы и укладывали на тележки грудками, один на другой, потом пересекали мостовую на Окоповой, выезжали из гетто — кладбище было на арийской стороне — и шли вон туда, по этой аллее, к ограде.

Хоронили вначале у ограды, постепенно, по мере того, как число покойников увеличивалось, продвигаясь в глубь кладбища, пока не заняли все поле.

Над могилами Михала Клепфиша, Абраши Блюма и тех, из Зелёнки, стоит памятник. Выпрямившийся во весь рост мужчина с винтовкой в одной и гранатой в другой, поднятой вверх руке, на поясе у него патронташ, на боку — планшет с картами, через грудь — ремень. Никто никогда так не выглядел, не было у них ни винтовок, ни патронташей,

* Кладбище Повонзки — самый старый польский некрополь.

ни карт, и сами они были черные, грязные, но на памятнике всё так, как, наверно, и должно быть. Светло и красиво.

Рядом с Абрашей Блюмом лежит его жена Люба, та самая, которая в гетто руководила школой медсестер. На всю школу Любе дали пять талонов на жизнь, а учениц было шестьдесят, и она сказала: талоны получают те, у кого самые хорошие оценки по специальности, — и велела им ответить на вопрос «Каковы обязанности медсестры по уходу за больными в первые дни после инфаркта». Ученицы, ответившие лучше всех, получили талоны.

После войны Люба Блум была директором детского дома. В этот дом привозили детей, которых находили в шкафах, в монастырях, в угольных ящиках и могильных склепах; их обривали наголо, одевали в юнрровские* вещи, учили играть на фортепьяно и объясняли, что во время еды не надо чавкать. Одна девочка родилась после того, как ее мать изнасиловали немцы, поэтому дети дразнили ее швабкой. Другая была абсолютно лысая: волосы у нее выпали из-за отсутствия витаминов, а третью, которая пряталась в деревне, воспитательница неоднократно вынуждена была просить никому не рассказывать о том, что мужики делали с ней на чердаке, поскольку воспитанные барышни в обществе о таких вещах не говорят.

* ЮНРРА — Администрация Объединенных Наций по вопросам помощи и восстановления.

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

Люба Блюм — которая в гетто следила, чтобы у будущих медсестер шапочки были белоснежные и жестко накрахмаленные, а в детском доме напоминала воспитанникам, что надо вежливо и полными фразами отвечать всем дядям, которые будут спрашивать, как погиб твой папа, потому что дяди эти вернутся в Америку и станут присылать оттуда посылки, много-много посылок с платьями и халвой, — так вот, Люба Блюм лежит на главной, ухоженной аллее кладбища. В стороне же от этой аллеи — непролазный кустарник, поваленные колонны, заросшие могилы, надгробные плиты — тысяча восемьсот... тысяча девятьсот тридцать... житель Праги*... доктор права... безутешная в печали... — следы мира, который когда-то, по-видимому, реально существовал.

В боковой аллейке: *Инженер Адам Черняков, председатель Совета Варшавского гетто, умер 23 июля 1942* — и строки из стихотворения Норвида: *...не важно, где прах похоронят, ибо могилу твою еще откроют, по-иному прославят твои заслуги...* («Только за это мы к нему в претензии. За то, что распорядился своей смертью как своим личным делом».)

Похороны. Процессия движется по ухоженной, часто посещаемой аллее. Множество людей, венков, лент — от Общества пенсионеров, от проф-

* Прага — район правобережной Варшавы.

кома... Какой-то старик подходит поочередно к каждому из присутствующих и тихонько спрашивает: «Простите, вы случайно не еврей? — И идет дальше: — Простите, вы...» Ему нужны десять евреев, чтобы прочитать над гробом кадиш, а он насчитал только семь.

— В такой толпе?

— Сами видите, я каждого спрашиваю, и все равно выходит семь.

И показывает добросовестно загнутые пальцы: семь на всем кладбище, даже кадиш прочитать нельзя.

Евреи... они на Умшлагплац, в квартире Стронской, на платформе.

Бородатые, в лапсердаках, ермолках, кое-кто в отороченных рыжим лисьим мехом шапках, двое даже в форменных фуражках... Толпы, буквально толпы евреев: на полках, на столиках, над диваном, вдоль стен...

Моя приятельница Анна Стронская собирает произведения народного творчества, а народные мастера охотно изображают своих довоенных соседей.

Стронская привозит своих евреев отовсюду, со всей Польши — из Пшемысля, где ей продают за дешево самые красивые вещи, потому что ее отец до войны был тамошним старостой, из Келецкого воеводства, но лучше всех те, что куплены в Кракове. На второй день Пасхи перед костелом норберта-

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

нок на Сальваторе народное гулянье, и только там еще в ярмарочных ларьках можно найти евреев в черных лапсердаках и белых атласных талесах, с тфилин* на голове — все на них солидное, сшитое по всем правилам, как следует быть.

Они стоят группами.

Одни беседуют, оживленно жестикулируя, — неподалеку кто-то читал газету, но рядом очень уж громко разговаривают, и он оторвал от газеты взгляд и прислушивается. Кое-кто молится. Двое, в рыжих лапсердаках, до упаду над чем-то смеются; мимо проходит пожилой человек с палкой и сак-воляжем — не врач ли?

Все чем-то заняты, чем-то увлечены.

Потому что это те евреи, ПРЕЖНИЕ, до того, что случилось потом.

И я привожу Эдельмана к Стронской, чтобы он поглядел на тех, нормальных, евреев, а когда мы уже собираемся уходить, Стронская говорит, что соседка, которая живет в двух шагах отсюда, на Милой, рассказала ей странный сон.

Сон у соседки всегда один и тот же — с первого дня, как только она вселилась в новую квартиру.

* Талес — молитвенное покрывало, обычно надеваемое во время утренней молитвы поверх одежды; тфилин (филактерии) — прямоугольные черные кожаные футляры, содержащие написанные на пергаменте отрывки из Торы; во время утренней молитвы при помощи ремешков прикрепляются на лоб и левое предплечье.

Собственно, трудно сказать, сон ли это: ей снится, что она не спит, а просто лежит в своей комнате, которая вовсе даже не ее комната. Там стоит старая мебель, в углу большая кафельная печь, в глухой стене окно, а поскольку она проводит здесь каждую ночь, то уже привыкла к обстановке и начинает узнавать мелочи, оставленные в креслах и на серванте. Иногда ей кажется, что кто-то притаился за дверью, — ощущение чьего-то присутствия рядом бывает таким реальным, что она встает с постели и проверяет, не забрался ли в квартиру вор, но нет, никого нету.

Однажды ночью она опять видит себя в этой своей — не своей комнате. Все на обычных местах — печка, безделушки на серванте, — и вдруг открывается дверь, и в комнату входит молодая девушка, еврейка...

Приближается к кровати.

Останавливается.

Женщины внимательно разглядывают друг дружку. Ни одна не произносит ни слова, но и так понятно, что они хотят сказать. Девушка смотрит: «Ага, значит, это вы здесь...» — а та начинает оправдываться, что дом новый, что ей эту квартиру дали... Девушка жестом успокаивает ее: все в порядке, просто захотелось посмотреть, кто тут теперь живет, обыкновенное любопытство... После чего подходит к окну, открывает его и выпрыгивает с пятого этажа на улицу.

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

С того дня сон ни разу не повторился и ощущение чужого присутствия исчезло.

Вот в таких и еще во многих других местах Вайда мог бы снимать свой фильм, но Эдельман заявляет, что перед камерой ничего говорить не будет. Все это он мог рассказать один раз. И уже рассказал.

— Почему ты стал врачом?

— Чтобы и дальше делать то, что делал тогда. Что делал в гетто. В гетто мы приняли решение за сорок тысяч человек — столько там было в апреле 1943 года. Мы решили, что они не пойдут добровольно на смерть. Как врач, я мог бы отвечать за жизнь по крайней мере одного человека — и я стал врачом.

Тебе хочется, чтоб я так ответил, верно? Это бы хорошо прозвучало? Но все было совсем по-другому. Было так: окончилась война. Для всех она окончилась победой. Для всех, но не для меня: мне по-прежнему казалось, что я обязан еще что-то сделать, куда-то пойти, что меня кто-то ждет — человек, которого нужно спасти. Меня носило из города в город, из страны в страну, но, куда б я ни приезжал, всюду оказывалось, что никто меня не ждет, и помогать уже некому, и вообще нечего делать. Поэтому я вернулся (мне говорили: «И ты сможешь смотреть на эти стены, на мостовые, на пустые улицы?») — а я знал, что должен быть здесь и должен на

это смотреть) — вернулся, лег на кровать и лежал не вставая. Спал. Сутками, неделями. Иногда меня будили и говорили: надо что-то с собою сделать, — мелькнула мысль насчет экономики, не помню уже почему; в конце концов Аля записала меня на медицинский. И я пошел учиться на врача.

Аля тогда уже была моей женой. Мы познакомились, когда она пришла с патрулем — по распоряжению доктора Свиталя из АК, — чтобы вывести нас из бункера на Жолибоже. Мы застряли там, на улице Промыка, после варшавского восстания — Антек, Целина, Тося Голиборская, я и другие, — и в ноябре за нами прислали этот патруль. (Улица Промыка идет по самому берегу Вислы, это была еще линия фронта, все заминировано, Аля сняла туфли и прошла через минное поле босиком: она думала, если идти по минам босиком, они не взорвутся.)

Аля записала меня на медицинский. Я стал ходить на занятия, но меня это ничуть не интересовало. Когда мы возвращались домой, я снова ложился в постель. Все усердно учились, а я продолжал лежать лицом к стене — и тогда мне начали на этой стене рисовать разные вещи, чтобы я хоть что-нибудь запомнил. То печень нарисуют, то сердце, очень, кстати, старательно, с желудочками, предсердиями, аортой...

Так продолжалось два года — и в течение этих двух лет меня время от времени усаживали в какой-нибудь президиум...

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

— Ты считался героем?

— Вроде бы. Или просили: «Расскажите, расскажите же, как было». Но я разговорчивостью не отличался и в президиумах этих выглядел слабовато.

Знаешь, что я лучше всего из того периода помню?

Смерть Миколая. Он был членом «Жеготы» (Совета помощи евреям), представлял нашу подпольную организацию.

Миколай заболел и умер.

Умер, понимаешь? Обыкновенно, в больнице, на кровати! Первый из моих знакомых умер, а не был убит. Накануне я навестил его в больнице, и он сказал: «Пан Марек, если со мной что-нибудь случится, здесь, под подушкой, тетрадь, там все сосчитано, все до мелочи. Вдруг когда-нибудь спросят, так что не забудьте: сальдо сходится и даже кое-что осталось».

Знаешь, что это было?

Такая толстая тетрадь в черной обложке — он всю войну в нее записывал, на что мы расходует деньги. Доллары из сбросов с самолетов, нам их давали для покупки оружия. С полсотни еще осталось, и они тоже лежали в этой тетради.

— И ты вручил сдачу и тетрадь профсоюзным боссам, которые со слезами на глазах принимали тебя в Америке?

— Представь — я вообще не взял тетрадь из больницы. Рассказал про нее Антеку и Целине, и,

помню, эта история страшно нас рассмешила. Тетрадь эта и Миколай — чудно́ как-то он умирает: в кровати, на чистых простынях... Мы надрывались от смеха, пока Целина не сказала: хватит, над чем смеемся?!

— А сердца рисовать на стене тебе в конце концов перестали?

— Да.

Однажды я забежал на какую-то лекцию — наверно, только подписать зачетку — и услышал слова профессора: «Если врач знает, как выглядит глаз больного, как выглядит его кожа, язык, то ему должно быть понятно, чем человек болен». Мне это понравилось. Я подумал, что болезнь человека похожа на рассыпанную мозаику: если правильно такую мозаику собрать, узнаешь, что́ у человека внутри.

С тех пор я занялся медициной, и дальше уже можно говорить о том, с чего ты хотела начать, а я понял гораздо-гораздо позже: что как врач я могу и впредь отвечать за человеческую жизнь.

— А почему, собственно, ты должен отвечать за человеческую жизнь?

— Наверно, потому, что все остальное мне кажется менее важным.

— Может быть, дело в том, что тебе тогда было двадцать лет? Если самые важные в жизни минуты переживаешь в двадцатилетнем возрасте, потом довольно трудно найти равноценное занятие...

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

— Знаешь, в клинике, где я потом работал, была большая пальма. Иногда я стоял под ней и видел палаты, в которых лежали мои больные. Это было давно, у нас не было ни теперешних лекарств, ни методик, ни аппаратуры, и многие в этих палатах были обречены. Моя задача заключалась в том, чтобы как можно больше из них спасти, — и однажды, стоя под пальмой, я вдруг понял: ведь это, собственно, та же задача, какая была у меня там. На Умшлагплац. Тогда я тоже стоял у ворот и вытаскивал отдельных людей из толпы обреченных на смерть.

— И так ты стоишь у ворот всю жизнь?

— Фактически да. А когда уже ничего не могу сделать, остается одно: обеспечить им комфортабельную смерть. Чтоб они ничего не знали, не страдали, не боялись. Чтобы не унижались.

Надо дать им возможность умереть так, чтобы не уподобиться ТЕМ. Тем, с четвертого этажа на Умшлагплац.

— Мне говорили, что в обычных, не особенно опасных случаях ты лечишь больных словно бы по обязанности, а по-настоящему оживляешься, когда начинается игра. Когда начинаются гонки со смертью.

— В этом-то и состоит моя роль.

Господь Бог уже собирается погасить свечу, а я должен очень быстро, воспользовавшись Его минутным невниманием, заслонить пламя. Пусть погорит хоть немного дольше, чем Ему угодно.

Это важно: Бог не так уж справедлив. И к тому же приятно: если что-нибудь получится, значит, худо-бедно, ты Его оставил...

— Гонки со Всевышним? Ну и гордыня!

— Знаешь, когда человек провожает других людей в вагоны, скорее всего, ему потом понадобится свести с Ним кое-какие счета. А мимо меня проходили все, потому что я стоял у ворот с первого дня до последнего. Все четыреста тысяч прошли мимо меня.

Конечно, любая жизнь все равно заканчивается одинаково, но речь идет об отсрочке приговора, о восьми, десяти, пятнадцати годах. Это не так уж мало. Дочка Тененбаум благодаря талону прожила три месяца — я считаю, это много: ведь за эти три месяца она успела узнать, что такое любовь. А девочки, которых мы лечили от стеноза и недостаточности митрального клапана, успели вырасти, и полюбить, и родить детей, то есть гораздо больше, чем дочка Тененбаум.

Была у меня девятилетняя пациентка, Уршуля, со стенозом двустворчатого клапана, она отхаркивала розовую пенистую мокроту и задыхалась — но тогда мы еще не оперировали детей. Вообще в Польше только начинали оперировать пороки сердца, но Уршуля уже умирала, и я позвонил Профессору, что девочка вот-вот задохнется. Он прилетел через два часа на самолете и в тот же день ее прооперировал. Она быстро поправилась, вышла из больни-

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

цы, закончила школу... Иногда заходит к нам, то с мужем, то одна (развелась) — красивая, высокая, черноволосяя; раньше она косила, и это ее немно-го портило, но мы нашли очень хорошего окули-ста, он сделал ей операцию, и теперь глаза у нее тоже в порядке.

Потом у нас лежала Тереса с пороком сердца, распухшая, умирающая. Как только отеки спали, она потребовала: «Выпишите меня домой», а все это время из дома к ней никто не приходил. Я туда пошел: это оказалась комнатуха с бетонным полом на задах магазина, Тереса жила там с больной матерью и двумя младшими сестренками. Она ска-зала: мне надо домой, некому присматривать за сестрами — ей тогда было десять лет, — и ушла. Потом она родила, после родов снова пришлось ее спасать от отека легких, но едва она почувствовала, что может дышать, попросилась домой, к ребенку. Иногда она к нам заходит и говорит, что у нее есть все, чего ей хотелось: дом, ребенок, муж, а самое главное, говорит, что удалось выбраться из этой ка-морки за магазином.

Потом у нас была Гражина из детского дома, ее отец, алкоголик, умер в психиатрической больни-це, мать тоже умерла — от туберкулеза. Я предупре-ждал, что ей нельзя рожать, но она родила и верну-лась к нам с недостаточностью кровообращения. С каждым днем силы у нее тают, она уже не может работать, не может взять сына на руки, но возит его

гулять в коляске и гордится, что у нее, как у всякой нормальной женщины, есть ребенок. Муж очень ее любит и не дает согласия на операцию, а мы не рискуем настаивать, и Гражина потихоньку угасает.

Может быть, я нескладно рассказываю, но теперь я уже довольно плохо их помню. Это странно. Когда они у тебя лежат, когда им худо и они нуждаются в твоей помощи — ближе их нет никого на свете, и ты знаешь про них все. Знаешь, у кого дома каменный пол, у кого отец пьет, а мать психически больна, знаешь, что одной в школе не дается математика, а у другой совершенно неподходящий муж, а в институте как раз началась сессия, так что нужно вызвать такси и отправить ее на экзамен вместе с медсестрой и запасом лекарств, и еще тебе известно все про ее сердце: что у нее сужение или расширение сердечного клапана (когда сужение — в аорту поступает мало крови, а при расширении кровь застаивается и кровоток замедляется), ты смотришь на нее — и если она такая красивая, хрупкая, с розовой кожей, это означает, что произошел застой и расширение мелких подкожных сосудов, а если бледная и сосуды на шее пульсируют — у нее слишком узкое устье аорты... Ты все про них знаешь, и эти несколько дней смертельной опасности нет у тебя никого ближе. Но потом они выздоравливают, уходят домой, ты забываешь их лица, а тут привозят новую больную, и теперь уже только эта новенькая важнее всех.

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

Несколько дней назад привезли семидесятилетнюю старушку с острой сердечной недостаточностью. Профессор ее прооперировал, это была действительно рискованная операция. Засыпая, больная молилась. «Господи, — говорила, — благослови руки профессора и мысли врачей из Пирогова». («Врачи из Пирогова» — это как раз мы, я и Ага Жуховская.)

Ну скажи, кому еще, кроме моей пациентки-старушки, пришло бы в голову молиться за мои мысли?

Не пора ли уже, наконец, навести мало-мальский порядок? Ведь люди будут ждать от нас каких-то цифр, дат, сведений о количестве войск и вооружении. Люди придадут большое значение историческим фактам и хронологии.

Например, повстанцев — 220, немцев — 2090.

У немцев авиация, артиллерия, бронемшины, минометы, 82 пулемета, 135 автоматов и 1358 винтовок, а на одного повстанца (согласно донесению заместителя начальника штаба восстания) приходится 1 револьвер, 5 гранат и 5 бутылок с зажигательной смесью. На каждый участок — 3 винтовки. Во всем гетто — две мины и один автомат.

Немцы вступают в гетто 19 апреля в четыре утра. Первые бои: Мурановская площадь, улица Заменгофа, Генсья. В два часа дня немцы убираются, не выведя на Умшлагплац ни одного человека...

(«Нам тогда еще казалось очень важным, что в тот день никого не вывезли. Мы даже считали это победой».)

20 апреля: полдня немцев нет (целых двадцать четыре часа в гетто нет ни единого немца!), они возвращаются в два. Подходят к фабрике щеток. Пытаются открыть ворота. Взрывается мина, немцы отступают. (Это была одна из двух мин, имевшихся в гетто. Вторая, на Новолипье, не взорвалась.) Они — их группа — взбираются на чердак. Михал Клепфиш закрывает своим телом немецкий пулемет, остальные прорываются — радиостанция «Рассвет» потом сообщает, что Михал пал смертью храбрых; тогда же зачитывается приказ Сикорского о его награждении орденом *Virtuti Militari* V класса.

Теперь сцена с тремя офицерами СС. Белые ленты, опущенные дулом вниз автоматы; предлагают заключить перемирие и вынести раненых. Повстанцы стреляют в них, но ни в одного не попадают.

В книге американского писателя Джона Херси «Стена» этот эпизод описан очень подробно.

Феликс, один из вымышленных героев, рассказывал о происходившем с некоторым смущением. В его душе еще теплится — пишет автор — столь характерное для западноевропейской традиции стремление соблюдать правила военной игры и принципы *fair play** в смертельной схватке...

* Честная игра (*англ.*).

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

В эсэсовцев выстрелил Зигмунт. У них была только одна винтовка, а Зигмунт стрелял лучше всех, так как успел до войны отслужить в армии. Эдельман, увидев приближающихся парламентаров, сказал: «Стреляй» — и Зигмунт выстрелил.

Эдельман — единственный оставшийся в живых участник этого эпизода (по крайней мере, со стороны повстанцев). Я спрашиваю, испытывал ли он смущение, нарушая столь характерные для западноевропейской традиции правила военной *fair play*.

Он говорит, что смущения не испытывал, поскольку эти трое были те же самые немцы, которые отправили в Трешлинку четыреста тысяч человек, разве что прицепившие себе белые ленты...

(Штроп в своем донесении упомянул об этих парламентарях и о «бандитах», открывших по ним огонь.

Вскоре после войны Эдельман увидел Штропа.

Прокуратура и Комиссия по расследованию нацистских преступлений попросили его на очной ставке с Штропом уточнить некоторые подробности — где была стена, где были ворота, в общем, всякие топографические детали.

Они сидели за столом — прокурор, представитель комиссии и он. В комнату ввели высокого мужчину, тщательно выбритого, в начищенных башмаках.

— Он встал перед нами навтыяжку — я тоже встал. Прокурор сказал Штропу, кто я такой,

Штроп еще больше выпятил грудь, щелкнул каблуками и повернул голову в мою сторону. В армии это называется «отдача воинских почестей» или что-то в этом роде. Меня спросили, видел ли я, как он убивал людей. Я сказал, что в глаза не видел этого человека, встречаюсь с ним в первый раз. Потом меня стали спрашивать, возможно ли, что ворота были в этом месте, а танки шли оттуда — Штроп дает такие показания, а у них там чего-то не сходится. Я сказал: «Да, возможно, что ворота были в этом месте, а танки шли оттуда». Мне было не по себе. Этот человек стоял передо мной навытяжку, без пояса, и уже имел один смертный приговор. Какая разница, где была стена, а где ворота — мне хотелось поскорее уйти из этой комнаты.)

Парламентеры уходят — Зигмунт, к сожалению, промахнулся, — а вечером все спускаются в подвалы.

Ночью прибегает паренек с криком: «Горим!» Вспыхивает паника...

Стоп. «Прибегает паренек с криком...» — это нельзя считать серьезным историческим свидетельством. Как и тот факт, что в подвале при его словах несколько тысяч человек в панике вскакивают, вздымая тучей песок, от чего гаснут свечи, и паренька надо спешно призвать к порядку. Истории такие подробности не нужны... Через минуту люди успокаиваются: увидели, что кто-то распоряжается. («Люди всегда должны знать, что кто-то распоряжается».)

Итак, немцы поджигают гетто. Район фабрики щеток уже охвачен пламенем, надо сквозь это пламя продрааться в центральное гетто.

Когда горит дом, сперва выгорают полы, а потом сверху начинают падать горящие балки, но между одной и другой балками проходит несколько минут, и вот тогда-то нужно проскочить. Чудовищно жарко, осколки стекла и асфальт плавятся под ногами. Они бегут в огне среди этих падающих балок. Стена. Пролом в стене, возле него прожектор. «Мы не пойдем». — «Что ж, оставайтесь...» Выстрел по прожектору, они бегут. Двор, шестеро ребят, выстрелы, они бегут. Пятеро ребят, могила, Сташек, Адам, «Интернационал»... И еще: в тот же день, когда вырыли могилу и тихонько пропели первый куплет, нужно было пробраться подвалами из одного дома в другой. Четверо пошли пробивать проход, а наверху стояли немцы и кидали в подвал гранаты. Туда начал проникать дым, гарь, и он велел немедленно засыпать лаз. Внутри еще оставался один парень, но люди начали задыхаться, поэтому ждать его было уже нельзя.

Вот это точная хронология. Теперь мы уже знаем, что первым погиб Михал Клепфиш, потом шестеро ребят, потом пятеро, а потом Сташек, а потом Адам, а потом парень, которого пришлось засыпать. И еще несколько сотен в убежище, но это немного позже, когда гетто горело целиком и все перебрались в подвалы. Там было ужасно жарко, и

какая-то женщина на минутку выпустила ребенка на воздух. Немцы дали ему конфетку, спросили: «А где твоя мама?» — ребенок показал, и немцы взорвали убежище, несколько сот человек. «Мы потом говорили: надо было этого малыша, как только он вышел, застрелить. Но и это бы не помогло: у немцев были подслушивающие аппараты, и с их помощью они обнаруживали людей в подвалах».

Вот она: хронология событий.

Историческая последовательность оказывается всего лишь последовательностью смертей.

История творится по другую сторону стен, там, где пишутся донесения, рассылаются по всему миру радиосводки и призывы о помощи. Любому специалисту сейчас известны тексты депеш и правительственных нот. Но кто знает про парня, которого пришлось засыпать, потому что в подвал просачивалась гарь? Кому сегодня известно об этом парне?

Донесения о происходящем в гетто составляет на арийской стороне «Вацлав». Вот, например, «Сводка № 3 Вац. А/9, 21 апреля: *Еврейская боевая организация, руководящая борьбой Варшавского гетто, отвергла немецкий ультиматум, в котором содержалось требование сложить оружие во вторник до 10 часов утра... Немцы ввели в бой полевую артиллерию, танки и бронемашину. Осада гетто и борьба еврейских повстанцев — чуть ли не единственная тема разговоров в миллионном городе...*»

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

До того «Вацлав» передавал донесения об акции по уничтожению гетто — именно от него мир узнал о существовании Умшлагплац, об эшелонах, газовых камерах и Треблинке. Упоминание о «Вацлаве» — Генрике Волинском — есть в каждой книге, в каждой научной работе о гетто. Он руководил еврейским сектором при Главном штабе АК, был посредником между ЖОБом и штабом, в частности, передал командующему АК, генералу Грот-Ровецкому, первое сообщение о создании ЖОБа, а Юреку Вильнеру — приказ генерала о подчинении ЖОБа Армии Крайовой. Он же связал подпольщиков с командующим Варшавским округом АК генералом Монтером и офицерами, которые впоследствии снабжали их оружием и учили им пользоваться. Чаще всего занятия проводил Збигнев Левандовский, «Рельс», заместитель руководителя варшавского Кедива* и начальник Бюро технических исследований АК. Он рассказывает, что на «уроки» к нему приходили из гетто всего два человека, женщина и мужчина, и вначале его это огорчало, но оказалось, что мужчина был химиком, схватывал все на лету и инструкции «Рельса» передавал своим товарищам в гетто. Кроме инструкций они получили хлорат калия и, добавляя к нему серную кислоту, бензин, бумагу, сахар и клей, сами изготавливали бутылки с зажигатель-

* Управление диверсионной службы в Армии Крайовой.

ной смесью. «Коктейли Молотова?» — уточняю я, но доцент Левандовский возмущается: «Никакого сравнения! Наши бутылки были небольшие, изящные, обложенные хлоратом и обклеенные бумагой, и воспламенители у них располагались по всей поверхности. Филигранная работа — честное слово. Новейшее достижение Бюро технических исследований АК. Вообще все, что мы давали ЖОБу, — говорит «Рельс», — и бутылки, и люди, и оружие, было самым лучшим из того, что мы тогда могли дать».

Доцент Левандовский по сей день не знает фамилии мужчины, который приходил на Маршалковскую, 62 (первый этаж, во дворе налево). «Высокий худощавый шатен, — говорит он. — Не из этих сорвиголов, наоборот: тихий, спокойный. Хотя, — добавляет доцент, — в особо опасных акциях лучше всех себя проявляли вовсе не сорвиголы, а вот такие тихони».

— Человека, которого вы обучали, звали Михал Клепфиш, — говорю я доценту.

Вместе со Станиславом Гербстом «Вацлав» описал ход первой крупной акции по уничтожению гетто, и донесение это в виде микрофильма курьер перевез через Париж и Лиссабон (в канун Рождества 1942 года генерал Сикорский подтвердил получение). Юрек Вильнер, представитель ЖОБа на арийской стороне, приносил известия из гетто ежедневно, благодаря чему донесения всегда от-

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

ражали текущие события и передавались в Лондон систематически. Например:

...Настроение паническое: в 6.30 начинается акция, каждый готов к тому, что его могут взять в любую минуту, в любом месте...

...Последний этап ликвидации начался в воскресенье. В этот день всем евреям было приказано в 10 часов явиться к Совету общины. Началась раздача талонов на жизнь; каждый получивший талон обязан носить его на груди. Это желтоватые листочки с написанным от руки номером, снабженные печатью Совета и подписью. Все талоны безымянные...

...На прошлой неделе на Умшлагплац за 1 кг хлеба платили 1000 (тысячу) злотых, за одну сигарету — 3 зл.

...Северин Майде, когда за ним пришли жандармы, бросил в одного из них тяжелую пепельницу и разбил ему голову. Майде, конечно, расстреляли. Это единственный известный случай сознательной самообороны...

...Пассажиры, проезжающие через Треблинку, утверждают, что на этой станции поезда не останавливаются.

И так каждый день: Вильнер приносит из гетто информацию — «Вацлав» составляет донесения — радисты передают их в Лондон, а лондонское радио, вопреки сложившейся практике, в своих передачах ничего об этом не сообщает. Радисты

по поручению своего руководства запрашивают, в чем причина, но Би-би-си продолжает молчать. Только месяц спустя в информационном блоке передают первое сообщение о ежедневных десяти тысячах и Умшлагплац. Оказывается — как выяснилось впоследствии, — Лондон все это время не верил донесениям «Вацлава». «Мы думали, вы чересчур увлеклись антинемецкой пропагандой...» — объяснили лондонцы, когда получили подтверждение уже из собственных источников... Итак, Юрек Вильнер приносил из гетто последние новости, а кроме того, тексты депеш — например, обращение к Еврейскому конгрессу в США, заканчивавшееся словами: «Братья! Остатки евреев в Польше живут с сознанием того, что в самые страшные дни нашей истории вы не оказали нам помощи. Откликнитесь. Это наш последний к вам призыв».

В апреле 1943 года «Вацлав» вручает Антеку (представителю штаба ЖОБа) приказ генерала Монтера, в котором «приветствуется вооруженное выступление варшавских евреев», а затем сообщает, что АК будет форсировать стены гетто со стороны Бонифратерской и Повонзок.

«Вацлав» до сих пор не знает, попало ли это последнее сообщение в гетто, но, видимо, попало — ведь Анелевич говорил что-то о предполагаемой атаке. На ту сторону даже послали одного парня, который не дошел (его сожгли на Милой, целый

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

день слышно было, как он кричал), да и когда Ане-левич об этом узнал, к нему на мгновение вернулась надежда, хотя остальные сразу сказали, что ничего из этого не выйдет: там никому не про-рваться.

На Милой кричал обоженный парень, а по другой стороне стены, на мостовой, лежали трупы двоих ребят, которые должны были подложить 50 кило взрывчатки под стену гетто. Збигнев Млынарский (подпольный псевдоним «Крот») говорит, что именно это сыграло роковую роль. Что погибли сразу оба и больше некому было подобраться с взрывчаткой к стене.

— Улица была пустая, немцы стреляли со всех сторон, пулемет, прежде с крыши больницы обстреливавший гетто, перенес огонь на нас. За нами, на площади Красинских, стояла рота СС, так что Пшеничный поджег взрывчатку, которая должна была разворотить стену. Мина разорвалась на улице и разнесла в клочья тела этих наших двоих ребят, и мы стали отходить.

— Сейчас я знаю, как следовало поступить, — говорит Млынарский, — надо было войти в гетто и там, внутри, поджечь взрывчатку, а наши люди должны были ждать с другой стороны и выводить повстанцев.

Только — если хорошенько подумать — сколько бы их вышло? Десятка полтора, не больше. Да и вообще, захотели ли бы они выйти?

— Для них, — продолжает Млынарский, — это было делом чести. Хотя и поздно, но все же они совершили этот печальный акт. И правильно поступили — по крайней мере, честь евреев была спасена.

Абсолютно то же самое говорит Генрик Грабовский, в квартире которого Юрек Вильнер прятал оружие и который потом вызволил Юрека из гестапо:

— Эти люди отнюдь не стремились остаться в живых, и надо поставить им в заслугу, что они способны были здраво рассуждать и решили погибнуть в борьбе. Все равно — и так смерть, и эдак, уж лучше умереть с оружием в руках, чем в унижительной покорности.

Грабовский сам это понял — что лучше погибнуть в борьбе, — когда его задержали возле гетто, откуда он выходил с пакетом от Мордки. «Простите, — поправляется пан Генрик, — от Мордехая, как-никак звание и функции заслуживают уважения». Да, когда его поставили к стене и дуло было перед ним... примерно вот так, на высоте той вазы в серванте, он подумал: «Укусить, что ли, этого шваба или выцарапать ему глаза...» (К счастью, среди немцев был «синий»*, Вислоцкий, которому Грабовский сказал: «Хорошо, пан Вислоцкий, делайте свое дело, но знайте: я не один, как бы у вас

* «Синяя полиция» — созданные немецкими властями подразделения польской полиции на оккупированных территориях.

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

потом не вышло неприятностей...» — и Вислоцкий мгновенно все понял, и Грабовского отпустили.)

Мордку Анелевича Грабовский знал давно, еще с довоенных времен. «Это ж наш парень, с Повислья. Мы были в одной компании; если требовалось кому-нибудь рожу набить или посчитаться с ребятами с Воли или Верхнего Мокотова, всегда ходили вместе».

Что мать Анелевича, что мать Грабовского — одинаково бедствовали, одна торговала рыбой, другая — хлебом, и хорошо, если за день удавалось продать десять буханок, сорок булочек да пару пучков петрушки.

Еще тогда, на Повислье, видно было, что Мордка умеет драться, поэтому Грабовский несколько не удивился, встретив его в гетто уже как Мордехая, — наоборот, ему это показалось совершенно естественным. Кому ж еще быть вожаком, как не их человеку, пацану с Повислья. (Мордехай попросил его тогда передать ребятам в Вильно: пусть собирают деньги, оружие и здоровых, решительных молодых парней.)

Грабовский был до войны харцером*, его товарищей из старшей группы расстреляли в Пальмирах**, пятьдесят человек, всех до единого, а он остался жив и теперь получил от своего харцерско-

* Харцеры (скауты) — члены детской и молодежной организации «Союз польских харцеров» (основан в 1918 г.).

** Пальмиры — местность под Варшавой, где производились массовые расстрелы.

го руководства приказ ехать в Вильно и подымать евреев на борьбу.

В Колонии Виленской* Грабовский познакомился с Юреком Вильнером. Там был монастырь доминиканок, настоятельница прятала у себя нескольких евреев. (Я сказала своим монахиням: помните, Христос говорил: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». И они меня поняли...)

Юрек Вильнер был любимцем настоятельницы — голубоглазый блондин, он напоминал ей угнанного в неволю брата. Они часто беседовали — она ему говорила о Боге, он ей — о Марксе, и, уезжая в Варшаву, в гетто, откуда ему не суждено было вернуться, Юрек оставил ей самое дорогое, что имел: тетрадь со стихами. Он записывал туда все самое любимое и самое, как ему казалось, важное. Тетрадь в коричневой клеенчатой обложке, с пожелтевшими страницами, исписанными рукой Юрека (это она придумала ему польское имя), настоятельница сохранила до сегодняшнего дня. «Много чего испытала эта книжка. Налет гестаповцев, лагерь, тюрьму — мне бы хотелось перед смертью отдать ее в достойные руки».

Из тетради Юрека Вильнера

Брось – брось – брось – брось – видеть то,
 что впереди.
 (Пыль – пыль – пыль – пыль – от шагающих сапог!)

* Пригород Вильно (теперь в составе Вильнюса).

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

Все – все – все – все – от нее сойдут с ума,

И отпуска нет на войне!

Ты – ты – ты – ты – пробуй думать о другом,

Бог – мой – дай – сил – обезуметь не совсем

(Пыль – пыль – пыль – пыль — от шагающих сапог!)

Отпуска нет на войне!

Для – нас – все – вздор – голод, жажда, длинный

путь.

Но – нет – нет – нет – хуже, чем всегда одно –

(Пыль – пыль – пыль – пыль – от шагающих сапог!)

Отпуска нет на войне!*

Итак, Грабовский познакомился с Юреком в Колонии, и, когда Юрек приехал в Варшаву, он поселился у Грабовского на улице Подхорунжих. Все евреи из Вильно, приезжая в Варшаву, поначалу останавливались у Грабовского, и он первым делом отправлялся с ними на базар, чтобы купить более-менее подходящую одежду. Тогда были в моде лыжные шапочки с маленьким козырьком, но они не годились — каким-то странным образом подчеркивали носы, — и поэтому Грабовский говорил: «Кепки — пожалуйста, шляпы — пожалуйста, но эти лыжные — ни в коем случае!» И еще учил их, как себя вести, даже походку исправлял, чтоб ходили «без еврейского акцента».

* Из стихотворения Р. Киплинга «Пыль» (перевод А. Оношкович-Яцыны).

Грабовский тогда сделал любопытное наблюдение: чем больше человек боялся, тем некрасивее становился — черты его как-то неприятно искажались. А вот те, что не боялись — например, Вильнер, Анелевич, — были по-настоящему красивые ребята, и выражение лица у них сразу менялось.

Как представитель ЖОБа на арийской стороне (Грабовский только потом, уже после войны, узнал, какую Вильнер выполнял миссию; в то время люди предпочитали знать как можно меньше, чтобы не проговориться на допросе) Юрек поддерживал постоянный контакт с «Вацлавом» и офицерами и, если не мог всего, что от них получал, забрать в гетто, оставлял часть у Грабовского или у босых кармелиток на Вольской: то револьверы, то ножи, то пачку тротила. Устав ордена кармелиток тогда еще не был таким строгим, как сейчас, и им разрешалось показывать посторонним лица, так что Юрек, натаскавшись тяжестей, отдыхал у них на раскладушке за ширмочкой в монастырский приемной. Теперь я сижу в этой же приемной по одну сторону черной железной решетки, а мать настоятельница — в нише, в полутьме — по другую, и мы говорим о том, как почти целый год через их монастырь перебрасывали оружие для гетто. Не вызывало ли это каких-нибудь колебаний, сомнений? Настоятельница не понимает...

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

— В конце концов, оружие — в таком месте?!

— Может, вы насчет того, что оружие служит для убийства людей? — спрашивает мать настоятельница. Нет, это ей не приходило в голову. Она только думала, что хорошо бы Юрек, когда уже пустит в ход это оружие и настанет его последний час, успел раскаяться и помириться с Богом. Даже просила, чтобы он ей это пообещал, и сейчас спрашивает меня: как я считаю, он помнил о своем обещании, когда выстрелил в себя в бункере на Милой, 18?

Когда Юрек и его товарищи наконец пустили в ход оружие, небо в той части города стало сплошь красным и отсвет достиг даже привратницкой монастыря. Поэтому именно там, а не в часовне соби-
рались каждый вечер босые кармелитки и читали псалмы (*Но за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на заклание. Восстань, что спишь, Господи!*), и настоятельница просила Бога, чтобы Юрек Вильнер принял свою смерть без страха.

Итак, Юрек собирал оружие, а Грабовский со своей стороны энергично помогал ему пополнять запасы. Однажды он раздобыл несколько сот килограммов селитры и древесного угля для взрывчатки (купил у Стефана Оскробы, владельца аптекарского магазина на площади Нарутовича), а в другой раз — 200 граммов цианистого калия, который евреи хотели иметь при себе на случай аре-

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

А через год –
 друг друга уже не узнаем
А сегодня крик ночи взмыл над черной рекой
 Как будто я гроб приоткрыл рукой
 Слушай – спаси меня
 Слушай – люблю тебя
 Слышишь –
 слишком уже далеко*

В самом начале марта 1943 года Юрека Вильнера арестовало гестапо.

— Утром в тот день, — говорит адвокат Волинский, — я был у него на Вспульной, а в два немцы окружили дом и взяли его с документами и оружием.

У нас существовал неписанный закон: попадешь — молчи по крайней мере три дня. Если потом человек сломается — никаких претензий к нему не будет. Юрека Вильнера мучили целый месяц, но он никого не выдал, не назвал ни явок, ни адресов, хотя знал множество — в том числе и на арийской стороне.

В конце марта он чудом бежал, но вернулся в гетто. Ни для какой работы Юрек уже не годился: у него были отбиты ступни и он не мог ходить.

Чудо-побег, о котором рассказал адвокат Волинский, организовал Генек «Сало». Он узнал, что Юрек в лагере в Грохове, прокрался туда болотами, вызволил друга и забрал к себе домой.

* Из стихотворения «Крик над Вислой» Мариана Хемара (1901–1972) – поэта, комедиографа, сатирика.

У Юрека были изуродованы ногти, отбиты почки и ступни, его пытали каждый день, и однажды он замешался в группу приговоренных к расстрелу в надежде на скорый конец. Но группу отвезли на работу в Грохов; там его и отыскал Грабовский.

Выхаживали Юрека все — Грабовский, его мать, его жена; смазывали чем-то отслаивающиеся ногти и давали порошки, от которых моча становилась синей; наконец Юрек окреп и заявил, что хочет вернуться в гетто.

Грабовский сказал: «Юрек, зачем, я тебя увезу в деревню...» А Юрек: нет, он должен вернуться. Грабовский ему: «Я тебя так спрячу — до конца войны никто не найдет». А Юрек: нет, он должен вернуться.

Они даже не попрощались. Когда товарищи пришли за Юреком, пана Генрика не было дома. А едва в гетто вспыхнуло восстание, он сразу понял, что Юреку конец. Что из этой переделки ему уже не выкарабкаться. Не из переделки, конечно, а из этой трагедии...

И в самом деле, так оно и случилось. Из одного из последних донесений ЖОБа можно узнать, что именно Юрек дал сигнал к самоубийству 8 мая 1943 года в бункере на Милой, 18.

«Ввиду безнадежности положения, чтобы не попасть к немцам в руки живыми, Арье Вильнер призвал повстанцев покончить жизнь самоубийством. Первым был Лютек Ротблат — сначала застрелил свою мать, а потом застрелился сам. В убежище погибло большинство членов Боевой еврейской

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

организации с ее руководителем Мордехаем Ане-левичем во главе».

После войны пан Генрик (сперва у него была авторемонтная мастерская, потом такси, а потом он работал в транспортной системе в должности инженера) часто размышлял о том, правильно ли он поступил, позволив другу уйти. В деревне Юрек наверняка подлечился бы, набрался сил. «Но опять же, если б выжил, не был ли бы на меня в обиде? Скорей всего, не смог бы мне простить, что остался жив, и вышло б еще хуже...»

Из тетради Юрека Вильнера

Еще один миг, и они опять
перережут веревку, и все начинать
сначала.
В последний раз я так близко был,
я уже на губах ощутил
каплю вечности. Мало.
А теперь они взялись пичкать меня
жизнью с ложечки. Только я давно потерял
аппетит.
Поймите, меня тошнит.
Я знаю, что жизнь готова к употреблению,
полное блюдо,
ничуть не испорчена маслом,
божественный вкус и чудо, как пахнет.
И все же нет, не по нутру мне это...*

* Из стихотворения Р.-М. Рильке «Песня самоубийцы»
(перевод Е. Борисова).

— Я написал ему в гетто письмо, — говорит «Вацлав», адвокат Волинский. — Что писал, уже не помню, но слова были теплые. Такие, которые страшно трудно писать.

Я очень тяжело пережил его смерть. Так же, как и смерть каждого из этих людей.

Таких достойных.

Таких героических.

Таких польских.

После Юрека Вильнера представителем ЖОБа на арийской стороне стал Антек — Ицхак Цукерман.

— Очень был славный и толковый малый, — рассказывает Волинский, — только имел ужасную привычку: вечно таскал с собой сумку гранат. Мне это несколько мешало с ним разговаривать: я боялся, как бы гранаты не рванули.

Одна из первых депеш, которые «Вацлав» отправил в Лондон, касалась денег. Деньги нужны были его еврейским подопечным для покупки оружия, и сначала поступило пять тысяч долларов из сбросов.

— Я дал их Миколаю из Бунда, и тут ко мне прибегает Боровский, сионист, с жалобой. «Пан Вацлав, — говорит, — он все забрал и ничего мне не хочет давать, скажите ему сами...»

Но Миколай уже отдал эти деньги Эдельману, а Эдельман — Тосе, а Тося спрятала их под полотер и, как они вскоре смогли убедиться, здорово придумала, потому что во время обыска у нее перерыли всю квартиру, но никому не пришлось в голову

заглянуть под полотерную щетку. За эти деньги на арийской стороне было куплено оружие.

Тося впоследствии выкупила «Вацлава» из гестапо: кто-то ей сообщил, что его арестовали, и она сразу подумала: «А что, если пустить в ход мой персидский ковер?» И действительно, благодаря коврику «Вацлава» вызволили. «Но ковер был, правда, прекрасный, — говорит Тося. — Знаешь, такой бежевый, гладкий, с бордюром по краям и медальоном посередине».

Тося — доктор Теодосия Голиборская, последняя из врачей, занимавшихся в гетто исследованием голода, — приехала на несколько дней из Австралии, так что у адвоката Волинского сегодня многолюдно, оживленно, шумно и все наперебой рассказывают разные забавные истории. Например: сколько было хлопот у «Вацлава» с ребятами из ЖОБа, которые чересчур поспешно расправлялись с агентами. Сперва полагалось вынести приговор, а уж потом приводить его в исполнение, а они приходят и говорят: «Пан Вацлав, мы его уже убрали». Что тут было делать? Пришлось писать в группу «стрелков», чтоб хоть задним числом составляли приговор.

А помните историю с тем большим сбросом? Пришло сто двадцать тысяч долларов...

— Погодите, — вмешивается Эдельман, — разве там было сто двадцать тысяч? Мы получили только половину.

— Пан Марек, — говорит «Вацлав», — вы получили всё и купили себе пистолеты.

— Те пятьдесят?

— Нет, что вы. Пятьдесят пистолетов вы не купили, а получили от нас, от АК. Хотя нет, один отдали в Ченстохову, и тот еврей из него выстрелил, помните? А двадцать пошло в Понятову...

Вот такие у них разговоры — а Тося еще вспоминает про красный джемпер, в котором Марек носился по крышам, и говорит, что это была суцая тряпка по сравнению с джемпером, который она пришлет ему из Австралии, — и, когда мы уже возвращаемся домой, Эдельман вдруг оборачивается и говорит: «Нет, месяц это не продолжалось. Несколько дней, от силы — неделю».

Это он о Юреке Вильнере. Что тот выдержал неделю пыток в гестапо, а не месяц.

Ну как же, минутку. «Вацлав» говорил — месяц, Грабовский — две недели...

«Я точно помню, он там пробыл неделю».

Его упрямство уже начинает раздражать.

Если «Вацлав» сказал — месяц, он, наверно, знал, что говорит.

Так что же теперь получается? Оказывается, нам всем очень важно, чтобы Юрек Вильнер как можно дольше выдержал пытки в гестапо. Это ведь большая разница — молчать неделю или месяц. Нам бы, правда, очень хотелось, чтобы Юрек — Арье Вильнер — молчал целый месяц.

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

— Ну хорошо, — говорит Эдельман, — Антеку хочется, чтобы нас было пятьсот, литератору С. хочется, чтобы рыбу раскрашивала мать, а вы хотите, чтобы Юрек сидел месяц. Ладно, пусть будет месяц, это ведь уже не имеет никакого значения.

То же самое с флагами.

Они висели над гетто с первого дня восстания: бело-красный и бело-голубой. Народ на арийской стороне это волновало, и немцы с большим трудом их сняли — торжественно, как военные трофеи.

Эдельман говорит, что если флаги были, то повесить их не мог никто, кроме его людей, а они флагов не вешали. Они бы повесили с радостью, будь у них хоть немного красной, белой и голубой ткани, но ее не было.

— Значит, кто-то другой повесил, не все ли равно кто.

— Да? — говорит Эдельман. — Вполне возможно.

Хотя лично он вообще никаких флагов не видел. Только после войны узнал, что они были.

— Как же так? Ведь все видели!

— Ну, раз все видели, стало быть, флаги были. А впрочем, — говорит он, — какое это имеет значение? Важно, что люди видели.

Вот что самое скверное: он со всем в конце концов соглашается. И убеждать его дальше просто бессмысленно.

«Какое это сейчас имеет значение?» — говорит он и больше не спорит.

— Мы должны еще кое-что дописать, — вспоминает он.

Почему он остался жив?

Когда пришел первый русский солдат-освободитель, он остановил его и спросил: «Ты еврей? Почему же ты живой?» В этих словах прозвучало подозрение: может быть, он кого-нибудь выдал? может, отнимал у кого-то хлеб? Так что теперь я должна у него спросить, не выжил ли он случайно за чужой счет, а если нет — то почему, собственно, выжил?

Тогда он попробует объяснить. Например, расскажет, как шел в дом номер семь на Новолипках, где у них был сборный пункт, чтобы сообщить, что Инка, врач из больницы на улице Лешно, лежит без сознания в пустой квартире напротив. Когда больницу перевели на Умшлаглац, Инка проглотила тюбик люминала, надела ночную сорочку и легла в постель. Он ее перенес — как нашел, в розовой ночной сорочке, — через улицу, в дом, где уже никого не осталось, и теперь шел сказать, чтоб ее оттуда забрали, если она жива.

Мостовую на Новолипках перегораживала стена — дальше была уже арийская сторона. Из-за этой стены вдруг высунулся эсэсовец и начал стрелять. Выстрелил раз пятнадцать — и всякий раз пули пролетали в каком-нибудь полуметре от него, правее. Может быть, у немца был астигматизм — это такой дефект зрения, который можно компенсировать очками, но у этого немца, видно,

был некомпенсированный астигматизм, и он промазал.

— И в этом все дело? — спрашиваю я. — Только потому, что немец не обзавелся подходящими очками?

Нет, есть еще одна история, про Метека Домба.

Как-то для комплекта — для тех десяти тысяч на Умшлагплаце — не добрали сколько-то там человек, и Эдельмана взяли прямо на улице и посадили на подводу, которая свозила всех на площадь. Подвода была запряжена двумя лошадьми, рядом с возницей сидел еврейский полицейский, а сзади немец.

Уже проехали Новолипки, как вдруг он увидел, что по улице идет Метек Домб. Метек был членом ППС*, его направили на службу в полицию, жил он на Новолипках и как раз возвращался с дежурства домой.

Эдельман крикнул: «Метек, меня загребли». Метек подбежал, сказал полицейскому, что это его брат, и ему разрешили спрыгнуть.

Они пошли к Метеку домой.

Дома был его отец, маленький, худой, голодный. Он посмотрел на них с неприязнью:

— Опять Метек кого-то снял с подводы, да? И опять не взял ни гроша?

Он бы мог за это иметь тысячи.

* Польская социалистическая партия.

Он бы мог за это хотя бы выкупить по карточкам хлеб.

А он что делает? Снимает с подводы задарма.

— Папа, — сказал Метек, — не огорчайся. Мне это зачтется, и я попаду в рай.

— Какой рай? Какой Бог?! Ты не видишь, что творится? Не видишь, что Бога здесь давно уже нет? А даже если и есть, — понизил старичок голос, — то он на ИХ стороне.

На следующий день папу Метека забрали — Метек не успел снять его с подводы и сразу же ушел в лес, к партизанам.

Это второй пример: тут уж он наверняка должен был погибнуть, но опять его спас случай. В прошлый раз это был астигматизм эсэсовца, а сейчас Метек Домб, который как раз шел по улице, возвращаясь с дежурства домой.

У девочек, которых привозили с розовой пеной на губах (у тех, что потом успели вырасти, и полюбить, и родить детей, то есть гораздо больше, чем успела дочка Тененбаум), были поражены сердечные клапаны; клапаны — это как бы лепестки, ритмично раскрывающиеся и пропускающие кровь. Когда клапанные отверстия сужаются, через них проходит слишком мало крови, может произойти отек легких, сердце, чтобы прокачать больше крови, вынуждено работать быстрее, но очень уж быстро биться бессмысленно, так как желудочки

не успевают наполняться кровью... Оптимальный режим работы: четыре тысячи двести ударов в час, в сутки — более ста тысяч раз, за это время сердце перекачивает семь тысяч литров крови, то есть пять тонн... Это я узнала от инженера Сейдака, который говорит, что сердце — самый обыкновенный насос и, как все механизмы, имеет свои особенности: обладает большими резервами и не очень сильно изнашивается, так как способно восстанавливать вышедшие из строя части, то есть проводить текущий ремонт.

Если сердце не в состоянии успешно произвести ремонт, оно заболевает. Чаще всего отказывают именно клапаны, что понятно, говорит инженер Сейдак, в любом механизме клапаны портятся легче всего, взять хотя бы автомобиль.

Инженер Сейдак сконструировал для Профессора аппарат, заменяющий настоящее сердце во время проведения ремонта, то есть во время операции. Расходы на искусственное сердце составили четыреста тысяч злотых. Когда работа по изготовлению аппарата была закончена, на предприятие приехал ревизор, который установил, что затраченная сумма не оформлена должным образом, из чего следует, что изобретатель нанес предприятию материальный ущерб, иначе говоря, совершил экономическое преступление. К счастью, инженер Сейдак нашел нужные ходы, и обвинение в преступной деятельности с него сняли, ревизор же

оказался настолько великодушен, что не упомянул об этом в протоколе.

Теперь инженер Сейдак работает над новым аппаратом, который поможет сердцу проталкивать кровь через суженные сосуды и позволит больным с инфарктом продержаться до операции. Большинство умирает сразу после инфаркта, операции не дождавшись. Если аппарат действительно получится хороший, он многим сохранит жизнь, или, по крайней мере (как говорит Эдельман), еще на минуту заслонит пламя свечи.

Только надежды не всегда оправдываются. Ведь Он внимательно наблюдает и за Сейдаком, и за Профессором, и за всеми их стараниями и может нанести самый что ни на есть неожиданный удар. Взять, к примеру, хотя бы такой случай: все думали, что акция прошла удачно и им ничто не угрожает, а Стефан, брат Марыси Савицкой, наверно, был счастлив больше всех: ведь ему было семнадцать лет и он получил первый в жизни револьвер. Марыся Савицкая — та самая, что перед войной бегала вместе с сестрой Михала Клепфиша на восемьсот метров за «Искру»; так вот, Стефану тогда было семнадцать лет, ему впервые дали оружие, и радость от сознания, что он участвовал в акции (он был в группе, прикрывавшей их выход из каналов), буквально его распирала. Он не мог усидеть дома и побежал вниз, в кондитерскую. В эту минуту в кондитерскую вошел немец, заметил в кармане у Сте-

фана револьвер, вывел его наружу и застрелил на месте, перед домом, у Марыси под окном.

Иногда это настоящие гонки, и Он до самого конца не скупится на мелкие пакости. Взять хотя бы Рудного: не было специалиста по коронарографии — перегорела лампочка в рентгеновском кабинете — операционный блок оказался заперт — не было операционных сестер... Боли с каждой минутой усиливались, всякий раз приступ мог стать последним, а они все искали автомобили, врачей, лампочки, медсестер. И все же Его опередили. В три часа ночи, когда они поблагодарили Профессора, а Профессор — их, когда в сердце Рудного кровь текла уже по новому руслу, расширенному за счет кусочка вены из ноги, и сердце работало нормально, они подумали, что, похоже, успели, что и на этот раз опередили Господа Бога.

В случае Рудного у Эдельмана не было полной уверенности, что можно оперировать в острой стадии, ведь он тоже читал книги, в которых пишут, что нельзя, — и он ушел из больницы, чтобы еще раз спокойно все обдумать. Тут ему встретилась доктор Задрожная. Он спросил у нее: «Оперировать? Как ты считаешь?» — а доктор Задрожная очень удивилась. «Ну, знаешь... — сказала она. — В вашей ситуации?» У них на работе тогда как раз были неприятности, точнее, неприятности были у него — ему грозило увольнение, а Эльжбета Хентковская и Ага Жуховская решили в знак солидарно-

сти уйти вместе с ним, — это все, конечно, ерунда, но доктор Задрожная имела право удивиться: неудачная рискованная операция не облегчила бы им поиски новой работы. Но когда он услышал: «Ну, знаешь...» — то сразу понял, что больше раздумывать нечего. Решение было принято, причем как бы без его участия. Он вернулся в больницу и сказал: «Оперируем», а Эльжбета еще на него прикрикнула: где его носит, когда он прекрасно знает, что дорога каждая минута.

Или: привозят больную и все говорят, что у нее кататонический ступор — это такая форма шизофрении, когда человек не ест, не двигается и беспробудно спит. Ее лечат от шизофрении уже пятнадцать лет, а они берут у спящей больной кровь на исследование, и оказывается, что сахара там — около тридцати миллиграмм-процентов, и тогда им приходит в голову, что у нее вовсе не шизофрения, а что-то с поджелудочной железой. Делают операцию на поджелудочной, и тут-то начинаются волнения: сразу после операции сахар — сто тридцать, это многовато, но через два часа — шестьдесят, то есть, возможно, наступила стабилизация.

Заканчивается история с поджелудочной железой. Начинается повседневность — но тут происходит загадочная история с кальцием, содержание которого у почечного больного в крови вдруг начинает стремительно возрастать. Это означает, что надо спросить у коллег, каковы клинические прояв-

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

ления начальной гиперфункции паращитовидных желез; разумеется, никто этого не знает, поскольку такое встречается крайне редко, и они звонят в Париж (там есть специалисты по кальцию) и просят прислать (в контейнере при температуре минус тридцать два градуса) реактивы для исследования гормона паращитовидных желез, но у пациента кальция уже шестнадцать, а при двадцати умирают, и тогда его везут на операцию из Лодзи в Варшаву — может, в дороге не полезет кверху; в ту минуту, когда его кладут на стол, содержание кальция достигает двадцати, и больной теряет сознание...

Заканчивается история с паращитовидными железами. Начинается повседневность.

Я рассказываю все это Збигневу Млынарскому, подпольный псевдоним «Крот», тому самому, который пытался взорвать стену на Бонифратерской и готовился выстрелить именно в тот момент, когда по другую сторону стены люди Эдельмана взрывали свою единственную мину. (Млынарский прицеливался, и то же самое делал жандарм, но, к счастью, Млынарский на долю секунды его опередил.) Итак, я спрашиваю Млынарского, понятно ли ему поведение Эдельмана, а он говорит: да, абсолютно понятно. Он сам, к примеру, был после войны председателем скорняжной артели — сейчас об этом вспомнить приятно, ведь приходилось быстро действовать и принимать рискованные решения. Однажды, скажем, он использовал часть оборотных

средств, чтобы покрыть крышу, так как мех заливало. Ему пригрозили судом, он заявил: «Пожалуйста, можете меня судить, я незаконно истратил два миллиона, но спас тридцать». Такое решение и вправду требовало мужества: подумать только, в те годы пустить оборотные средства на ремонт крыши. Это и есть главное в жизни, заключает Млынарский. Быстрые, мужские решения.

Уйдя из артели, Млынарский открыл собственную мастерскую, где обрабатывал мех для государственных фирм; обязанности между своими четырьмя работниками он распределил четко, чтоб не цеплялся финотдел. Один растягивал шкурки, второй резал, третий кроил, четвертый подравнивал края, а у пана Збигнева была самая ответственная работа — подгонка. Ибо главное в скорняжном деле — чтобы шкурки идеально подходили одна другой.

Полноценной жизнью Млынарский жил, собственно, только во время войны: «Как мужчина я неказистый, шестьдесят килограммов, метр шестьдесят три росту, а был храбрее всех этих, по метр восемьдесят». А потом подгонял меховые шкурки. «Разве к этому можно относиться серьезно? — спрашивает он. — После того, что было, подгонять каракулевые шкурки?» Оттого он так хорошо понимает доктора Эдельмана.

Итак, речь идет только о том, чтобы заслонить пламя.

Но Он — как мы уже говорили — внимательно следит за всеми стараниями и может так ловко нанести удар, что уже ничего не удастся сделать. Когда, например, берут кровь и оказывается, что это был яд, тут уж ничем нельзя помочь. Почему Эльжбета Хентковская отравилась? У нее была гематома в области задней черепной ямы. Она путала слова, не могла выписать простейший рецепт, может быть, забыла свой адрес или как зажигают свет, что-нибудь в этом роде... А почему отравилась Эльжуня? У нее было все: любящие родители, комната с дорогими игрушками, а потом блестящая дипломная работа и красивый жених, но однажды она приняла снотворное, и опустела эта прекрасная салатово-белая комната, в которой ее симпатичный американский отец ни одной вещи не разрешает переставить и говорит, что так должно остаться навсегда. Американский отец спрашивал у доктора Эдельмана, почему она это сделала. Но Эдельман не сумел ответить, хотя это была Эльжуня, дочь Зигмунта, который говорил: «Я живым не останусь, а ты останешься, так что помни: в Замостье, в монастыре, моя дочка...» Зигмунт потом выстрелил в прожектор, благодаря чему они смогли перескочить через стену, а Эльжуню Эдельман отыскал сразу после войны, и ни одной он уже не сумел помочь — ни той, которая умирала в Нью-Йорке, ни той, что умирала в Лодзи...

Итак, никогда нельзя знать, кто кого провел. Иногда радуешься своей удаче, потому что ты тщательно все проверил, и подготовил, и всех убедил, и уверен, что ничего плохого случиться уже не должно, а Стефан, брат Марыси Савицкой, погибает оттого, что его распирает радость. И Целина, которая вышла с ними из каналов на Простой, тоже умирает, он же перед смертью может только ей обещать, что она умрет достойно и без страха. (Он был потом в кибуце имени Героев гетто*, недалеко от Хайфы, на похоронах Целины — Цивьи Любеткин. Их — из канала на Простой — там было трое: он, Маша и Пнина, и Маша, едва его увидела, шепнула: «Знаешь, сегодня я опять его слышала». — «Кого?» — спросил он. «Не прикидывайся, что не понимаешь, — рассердилась Маша, — только не прикидывайся». Ему объяснили, что Маша опять слышала крик того парня, который пошел узнать, что означает указание «ждать в северной части гетто». Его сожгли на Милой, он кричал целый день, и Маша, которая тогда была рядом в бункере, постоянно слышит его крики. Слышит в городе, находящемся в трех тысячах километров от Милой и от бункера, — и шепчет: «Послушай, сегодня опять. На редкость явственно».) А к хозяй-

* Кибуц им. Героев гетто в Израиле, основан в 1949 г. бывшими партизанами и бойцами еврейского Сопротивления в Польше и Литве в годы Второй мировой войны. С 1950 г. в кибуце работает Музей борцов гетто.

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

ке Абраши Блюма стучится дворник, говорит: «У вас еврей», запирает дверь снаружи и идет к телефону. (Дворнику аковцы впоследствии вынесли смертный приговор, а Абраша выпрыгнул из окна на крышу, сломал ноги и лежал, пока не приехало гестапо.) А вот человек умирает на операционном столе, потому что у него был циркулярный инфаркт, которого не показала ни коронарограмма, ни ЭКГ... Ты отлично всех этих больных помнишь и, даже если операция заканчивается успешно, — ждешь.

Наступают долгие дни ожидания, потому что лишь теперь выяснится, приспособилось ли сердце к вставленным кусочкам вен, к новым артериям и лекарствам. Потом ты помалу успокаиваешься, набираешься уверенности... И когда напряжение совсем спадет и радость схлынет — тогда, только тогда, ты осознаешь, что это за пропорция: один к четыремстам тысячам.

1:400 000.

Просто смешно.

Но собственная жизнь для каждого составляет целых сто процентов, так что, возможно, какой-то смысл в этом есть.

Евгений Евтушенко

ЛОЖЕЧКА ЖИЗНИ

Ханна Кралль — великая женщина-скульптор, вылепившая из дыма газовых камер живых людей. Этой книгой можно проверять людей. Если кто-то не содрогнется, читая ее, не задохнется от комка слез, застрявшего в горле, не ощутит позора за то, что такое могло позволить себе человечество, то этот читатель неизлечимо болен страшной античеловеческой болезнью — равнодушием. Но есть и другая категория людей, к сожалению многочисленная, — люди, которые не дочитают эту книгу. Не оттого, что им станет скучно, а оттого, что им станет страшно. От нежелания страдать чужими страданиями. От дискомфорта сопереживания. Боюсь тех, кто боится сострадать. Именно они и породили концентрационные лагеря тем, что отворачивались от них. Не хотели видеть колючей проволоки, не хотели знать страшного мира, где умирающая от голода еврейская мать, сошедшая с ума, откусила кусочек своего мертвого ребенка, где вес загнанных в Варшавское гетто смертников составлял в среднем 30–40 килограммов, и ногти

были похожи на когти. Какие там, к черту, метафоры, когда кровь в жилах замораживает простое, будничное: «Аля сняла туфли и пошла через минное поле босиком, она думала: если идти по минам босиком, они не взорвутся». Или горький упрек покончившему жизнь самоубийством главе Варшавского гетто Адаму Чернякову: «У нас к нему только одна претензия — зачем он распорядился своей смертью как своим личным делом?»

Но не все люди сдавались. Некоторые находили последнее счастье в том, чтобы прижаться друг к другу и умереть вместе. Некоторые все же находили в себе силы, чтобы в ослабшие руки взять оружие. Борьба с оружием в руках выглядела, по горькому ироничному выражению, как «прекрасная комфортабельная борьба». Каждая лишняя ложечка жизни была драгоценна, но и эту ложечку умели делить. Вспоминая карикатурное зрелище, когда гогочущие антисемиты издевательски выстригали волосы загнанного на бочку еврея, герой книги заключает свой рассказ так: «Самое главное — не позволить загнать себя на бочку». Страшной самоубийства желание затоптанного унижениями человека — «не иметь лица». Но лишь знание бессердечности ведет к знанию человеческих сердец. Через трагический опыт стольких ежедневно наблюдаемых убийств твоих ближних — к рискованным экспериментам в деле спасения человеческих жизней на операционном столе. Читая

Евгений Евтушенко

эту книгу, я впервые задумался о том, почему так много врачей-евреев. Гены преследования смешались с генами врачевания. Лагеря, где мучили людей, были первыми безъядерными Хиросимами. Нравственные последствия лагерей не менее долгосрочны и губительны, чем лучевая болезнь. Но пока существуют такие люди, как Ханна Кралль, не позволяющие нам забывать ни одну историческую вину человечества, есть надежда на то, что человечество избегнет и физического, и духовного самоуничтожения. Одна из самых сильнейших антифашистских книг.

Я бы давал эту книгу антисемитам, а потом мне хотелось бы посмотреть им в глаза. Насильственные желтые звезды на рукавах стали антипутеводными звездами, ибо путь самовозвеличения одного народа за счет уничтожения другого гибелен.

Евгений Евтушенко

СОДЕРЖАНИЕ

ОПЕРЕДИТЬ ГОСПОДА БОГА

5

Евгений Евтушенко

ЛОЖЕЧКА ЖИЗНИ

150

Кралль Х.

К78 Опередить Господа Бога: Повесть / Ханна Кралль; Перевод с польского К. Старосельской; Послесл. Е. Евтушенко. — М.: Текст, 2011. — 153[7]с.

ISBN 978-5-7516-0996-2 («Текст»)

ISBN 978-5-9953-0138-7 («Книжники»)

Книга польской писательницы и журналистки Ханны Кралль (р. 1935) написана на основе бесед с Марекон Эдельманом — одним из тех, кто возглавлял сопротивление фашистам в Варшавском гетто, и единственным уцелевшим после его разгрома; впоследствии Эдельман стал кардиологом. Публикация книги «Опередить Господа Бога» произвела сенсацию. Простыми, ясными словами, намеренно ничего не приукрашивая и избегая пафоса, Эдельман рассказывает об уничтожении Варшавского гетто и о людях, с которыми его тогда столкнула судьба. Он говорит о вещах по-настоящему страшных, от которых кровь стынет в жилах. Но, как пишет в послесловии к книге Евгений Евтушенко, «лишь знание бессердечности ведет к знанию человеческих сердец».

УДК 821.162.1-94

ББК 84(4Пол)+63.3(4Пол)

ПРОЗА ЕВРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ
Ханна КРАЛЛЬ
Опередить Господа Бога

Повесть

Редактор О. Поляк
Корректор Н. Пущина

Издательство благодарит Давида Розенсона
за участие в разработке этой серии

Подписано в печать 20.09.11. Формат 70 x 100/₃₂.
Усл. печ. л. 6,5. Уч.-изд. л. 5,13. Тираж 3000 экз. Изд. № 1013.
Заказ № 6238

Издательство «Текст»
127299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 7
Тел./факс: (499) 150-04-82
E-mail: text@textpubl.ru; <http://www.textpubl.ru>
Представитель в Санкт-Петербурге: (812) 312-52-63

Издательство «Книжники»
127055, Москва, ул. Образцова, д. 19, стр. 9
Тел. (495) 663-21-06; 710-88-03
E-mail: info@knizhniki.ru; lechaim@lechaim.ru
Интернет-магазин: www.knizhniki.ru

Отпечатано в ОАО
«Можайский полиграфический комбинат»
143200 г. Можайск, ул. Мира, 93
www.оаомпк.ру, www.оаомпк.рф
тел.: (495)745-84-28, (49638)20-685

В серии

ПРОЗА ЕВРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ

вышли:

Шмуэль-Йосеф АГНОН. Вчера-позавчера

Шмуэль-Йосеф АГНОН. Рассказы о Бааль-Шем-Тове

Аарон АППЕЛЬФЕЛЬД. Катерина

Шолом АШ. Америка

Шолом АШ. За веру отцов

Джорджо БАССАНИ. В стенах города

Джорджо БАССАНИ. Сад Финци-Контини

Юрек БЕКЕР. Дети Бронштейна

Юрек БЕКЕР. Яков-лжец

Давид БЕРГЕЛЬСОН. Отступление

БЕЛАЯ ШЛЯПА БЛЯЙШИЦА. Сборник рассказов

Сол БЕЛЛОУ. Серебряное блюдо

Робер БОБЕР. Что слышно насчет войны?

Мириам БОДУЭН. Хадасса

Юлия ВИНЕР. Место для жизни

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН. Бердичев

Хаим ГРАДЕ. Немой миньян

И. ГРЕКОВА. Свежо предание

Давид ГРОССМАН. См. статью «Любовь»

Жан-Клод ГРЮМБЕР. Дрейфус... и другие пьесы

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ЛОНДОНЕ. Рассказы английских писателей

ДЕР НИСТЕР. Семья Машбер

Вильгельм ДИХТЕР. Олух Царя Небесного

Лиззи ДОРОН. Почему ты не пришла до войны?

Джессика ДЮРЛАХЕР. Дочь

Исаак Башевис ЗИНГЕР. Папин домашний суд

Исаак Башевис ЗИНГЕР. Раб

Исаак Башевис ЗИНГЕР. Раскаявшийся

Исаак Башевис ЗИНГЕР. Семья Мускат
Исаак Башевис ЗИНГЕР. Сатана в Горае
Дина КАЛИНОВСКАЯ. О суббота!
Григорий КАНОВИЧ. Очарование сатаны
Даниэль КАЦ. Как мой прадедущка на лыжах
прибежал в Финляндию
Этгар КЕРЕТ. Когда умерли автобусы
Имре КЕРТЕС. Без судьбы
КИПАРИСЫ В СЕЗОН ЛИСТОПАДА. Рассказы
израильских писателей
Моисей КУЛЬБАК. Зелменяне
Примо ЛЕВИ. Периодическая система
Израиль МЕТТЕР. Пятый угол
Артур МИЛЛЕР. Фокус
Ирен НЕМИРОВСКИ. Давид Гольдер
Элиза ОЖЕШКО. Миртала
Синтия ОЗИК. Путермессер и московская
родственница
Иосиф ОПАТОШУ. В польских лесах
Карой ПАП. Азарел
ПО ЭТУ СТОРОНУ ИОРДАНА. Рассказы русских
писателей, живущих в Израиле
Мордехай РИХЛЕР. Кто твой враг
Мордехай РИХЛЕР. Улица
Филип РОТ. Прощай, Коламбус
Габор Т. САНТО. Обратный билет
Даля СОФЕР. Сентябрь Ширази
Юлиан СТРЫЙКОВСКИЙ. Аустерия
ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ БАСИ СОЛОМООНОВНЫ
Рассказы
Говард ФАСТ. Торквемада
Сирилл ФЛЕЙШМАН. Встречи у метро
«Сен-Поль»

Стефан ЦВЕЙГ. Погребенный светильник
Меир ШАЛЕВ. В доме своем в пустыне...
Меир ШАЛЕВ. Голубь и Мальчик
Меир ШАЛЕВ. Дело было так
Меир ШАЛЕВ. Как несколько дней...
Светлана ШЕНБРУНН. Пилюли счастья
Сара ШИЛО. Гномы к нам на помощь не придут
ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ. Мальчик Мотл
ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ. Тевье-молочник
Анджей ЩИПЁРСКИЙ. Начало, или Прекрасная
пани Зайденман
Асар ЭППЕЛЬ. Сладкий воздух
Лесли ЭПСТАЙН. Сан-Ремо-Драйв



Еврейские тексты и темы

booknik

первый ежедневно обновляемый независимый ресурс,
посвященный еврейским текстам и темам
в литературе и культуре
www.booknik.ru

For English-language readers, we introduce *Jewish Ideas Daily*,
a free online source of the best that has been and is being thought
and said by or about Jews — their history, religion, culture, and
ideas. For more, please visit www.jewishideasdaily.com

and

[Tabletmag.org](http://www.tabletmag.org) which promotes the discovery and discussion
of Jewish literature, culture, and ideas and produces the critically
acclaimed *Jewish Encounters* book series. For more, please visit
www.tabletmag.com